
АЛЕКСАНДР МИРОНОВ
НЕУЧТЁННАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ
ОЖИДАЕТСЯ ТУМАН.
СНИЖЕНИЕ ВИДИМОСТИ
ДО 50 МЕТРОВ.
БУДЬТЕ АККУРАТНЫ.
С ЗАБОТОЙ О ВАС,
ГАРМОНИЯ

Александр Миронов

Неучтённая переменная

«Автор»
2026

Миронов А.

Неучтённая переменная / А. Миронов — «Автор», 2026

Неучтённая переменная — величина, которую забыли включить в расчёт. Из-за таких рушатся самые точные модели.В Петербурге 2056 года люди больше не ошибаются. Ни в выборе профессии, ни в том, где жить, ни в любви. Ни в чём. За каждого думает «Гармония» — система, которая знает человека лучше, чем он сам. Она подсказывает нужные слова, мягко направляет, бережно гасит в полночь свет в окнах, чтобы все выспались, — и с каждым годом делает жизнь чуть лучше.Максим — исключение из этого правила. Уже пятнадцать лет. Каждый год в день рождения ему приходит одно и то же вежливое письмо: «Пожалуйста, подождите».Он моет окна на высоте шестисот метров, пишет стихи, которые никто не читал, и ещё не знает, что ждать ему нечего.Но однажды случайная встреча меняет больше, чем способна просчитать самая умная машина в стране.

© Миронов А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Прелюдия 5
Часть первая 11
Глава 1 12
Глава 2 24
Глава 3 31
Глава 4 38
Глава 5 45
Конец ознакомительного фрагмента. 48

Александр Миронов
Неучтённая переменная

Человеку надо — одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела.
Ф. М. Достоевский, «Записки из подполья»

…тех, кто нас не смог.
А мы хотели…

Из тетради в клетку

Прелюдия

Ночной Питер.

Сколько раз я забирался на эту крышу и смотрел на раскинувшийся подо мной удивительный, загадочный и прекрасный город. Сколько раз провожал отсюда закаты, когда солнце медленно уходило в залив где-то за куполом Кронштадтского собора и вода на несколько минут становилась тяжёлой и медной, будто расплавленной. Сколько раз встречал рассветы — бледные, сонные, неуверенно выползающие из-за крыш, словно сами не верили, что им снова пора. Случалось такое нечасто: только в те редкие часы, когда система сбоила, ненадолго забывала обо мне, и я мог быть предоставлен самому себе. Никто не считал мои шаги, не мерил пульс, не напоминал мягким голосом, что уже поздно и пора домой — в тепло, в расписание, в правильную жизнь. Здесь, наверху, были только я и ветер. А ветер, как я давно для себя решил, — единственное в этом городе, что так и не научилось подчиняться алгоритмам. Ради него я сюда и ходил. Только таким, как сегодня, я его ещё не знал.

Сегодня ветер был зверем. Он не дул — он бил наотмашь, как ладонью по лицу, и тут же заходил с другой стороны, забирался под куртку, под свитер, под кожу и выстуживал рёбра изнутри. Внизу система давно научилась договариваться с погодой: подогревала тротуары, разгоняла тучи над спальными кварталами, гасила порывы стеклянными экранами вдоль набережных, и люди годами не знали, что такое настоящий холод. Здесь договариваться было не с кем. Здесь, почти в семистах метрах над землёй, холод был не погодой — он был частью высоты, её платой за вид. Меня колотила дрожь, мелкая и противная, от которой стучали зубы, и я уже не мог разобрать, от холода она или от того, что я собирался сделать. Ветер бил наотмашь, рвал волосы во все стороны и швырял их в лицо. Глаза слезились, и слёзы тут же стыли на щеках тонкой солёной коркой. Я стоял на служебной площадке у самого шпиля Второй Лахты, почти на её вершине, — там, где в такой ветер не полагалось стоять ни одному живому человеку, — и почему-то думал о том, как когда-то мечтал здесь оказаться.

Её заложили, когда я пошёл в первый класс, и обещали сдать через пять лет. Но для такой башни нужны были лифты, стекло и сталь, которых нам тогда не продавали, и стройка замерла на годы: над заливом торчал бетонный пень в лесах, с уснувшими кранами, и мы, мальчишки, лазали по нему всё лето, пока сторожа не гнали нас прочь. Санкции снимали долго, одну за другой: сначала в город вернулись кофейни, потом машины и только потом то, без чего не построишь семьсот метров. Тогда её разморозили, и следующие пять лет она росла у меня на глазах. Из окна нашей кухни в Старой Деревне было видно, как она поднимается над заливом — этаж за этажом, месяц за месяцем, — как по ночам мигают красным огни на кранах и как стеклянная игла всё выше прошивает низкое питерское небо, будто кто-то решил наконец

пришить его к земле, чтобы не уплыло. Город сначала спорил о ней, потом привык, потом начал гордиться. Говорили, что Вторая Лахта будет выше всего, что когда-либо строили в Европе, что Первая рядом с ней покажется подростком, и что в её стеклянном теле будет биться сердце всего Петербурга. Казалось, словно на открытие собрался весь город. Набережные были забиты людьми от только что открывшейся Лахты до самого Васильевского. В небе тысячи дронов складывались то в герб, то в волну, то в разведённые мосты, над водой гремел салют, а по всем экранам страны показывали, как председатель правительства перерезает красную ленту у подножия башни. Мне тогда было девятнадцать. Я стоял в толпе, задрав голову так, что ныла шея, смотрел, как вспыхивает подсветка — от фундамента до самого шпиля, — и чувствовал, что всё самое главное в моей жизни вот-вот начнётся. Что город строит будущее и для меня в этом будущем тоже приготовлено место.

Оно так и не началось. И вот теперь я стоял на самом краю этого будущего, держа в руке маленький чёрный пульт. Пальцы на правой руке онемели уже давно; я переложил пульт в левую, подышал в кулак, сжал и разжал — бесполезно. Я поднёс руку к лицу и смотрел на неё, как на чужую: белые костяшки, негнущиеся фаланги, ногти с синевой. Когда-то этими пальцами я писал стихи. Держал ручку, выводил строчки на бумаге — настоящей, шершавой, которую почти никто уже не покупал, — и прятал листы в стол, потому что читать их всё равно было некому. Теперь в левой у меня был маленький чёрный кусок пластика с одной-единственной кнопкой. Ничего важнее я в жизни не держал. Пульта я почти не чувствовал и поэтому каждые несколько секунд опускал на него глаза — убедиться, что он всё ещё там, что рука его не выпустила. А потом, чтобы не смотреть на него поминутно, заставил себя посмотреть вниз.

Подо мной лежал город. С такой высоты он почти не был похож на город — скорее на звёздное небо, которое кто-то перевернул, расстелил по земле да так и забыл. Огни разделённых питерских биомов утопали в тумане, идущем с древнего, словно сама вечность, Финского залива. Туман полз медленно и тяжело, как живой: сначала слизывал береговую линию, потом затекал в улицы, как молоко в блюдце, обволакивал дома по самые крыши, и над белой пеленой оставались только шпили да купола. Я знал их наперечёт, как знают родинки на любимом лице. Далеко на западе, на самом краю темноты, мерцал Кронштадт, и к нему над заливом нитью бус тянулись огни дамбы. Ближе, у самого устья, лежал в молоке Васильевский — Васька, как говорят у нас, — похожий на огромный корабль, вставший на якорь: Стрелка — его нос, Ростральные колонны — две мачты, на которых по праздникам до сих пор зажигают огонь. Через Неву от него, тонкая, как штрих пера, поднималась из тумана игла Петропавловки — та самая, с ангелом, который смотрит на этот город сверху с тех пор, как его построили, так же, как сейчас смотрел я. А на другом берегу горела золотом игла Адмиралтейства с крошечным корабликом на самом кончике. В детстве я был уверен, что однажды этот кораблик снимется с якоря и уплывёт, просто никто не заметит когда. Ещё дальше, в самом сердце города, тускло тлело сквозь дымку золото Исаакия.

Первая и Третья Лахты светились внизу, и отсюда я смотрел им на макушки. Чёрной лентой, разрубая всё это надвое, тянулась Нева; мосты над ней стояли сведённые и тёмные — навигация кончилась, и разводить их до весны было незачем, — но город всё равно распадался на острова. Звуков снизу почти не долетало — только низкий ровный гул, похожий на дыхание огромного спящего существа, да свист ветра в стальных рёбрах шпиля у меня за спиной. Пахло солью, йодом и мокрым железом — так пахнет только здесь, между заливом и небом.

Раньше, говорят, Питер распадался на части только по ночам — до тех пор, пока не сведут мосты. Теперь он был поделён всегда. Биомы — так это называется сейчас. Районы, которые однажды перестали быть просто районами: у каждого свой уклад, свой климат, свой распорядок дня и свои люди, которые редко бывают у соседей и почти никогда не спрашивают себя почему. Сколько их, как они устроены и чем живёт каждый — вы скоро узнаете. Все до одного. А сейчас я искал глазами только свой. Приморский. Он лежал прямо подо мной —

Лахты стоят на самом его краю, будто город вбил их сюда, как колья, чтобы его не унесло ветром в залив. Там я вырос. Там ещё мальчишкой впервые увидел, как туман съедает город — улицу за улицей, дом за домом, пока от всего мира не остаётся только твоё собственное дыхание. Там я ходил в школу, бегал против ветра по Яхтенному мосту, гонял на велике по Парку 300-летия, залез на свою первую крышу и впервые понял, что сверху всё выглядит иначе. И там же, когда мне исполнилось двадцать, система впервые сказала мне: «Пожалуйста, подождите». Вежливо. Тепло. С искренней заботой. Я жду до сих пор.

А внизу как раз гасили свет: близилась полночь — час, когда система бережно укладывает город спать. Она считает, что сон — основа эффективности, а эффективность — основа счастья, и спорить с ней об этом так же бессмысленно, как спорить с мамой, которая желает тебе только добра. Окно за окном, квартал за кварталом, биом за биомом свет уходил, словно кто-то шёл вдоль огромного праздничного торта и задувал на нём свечи — одну за другой, неторопливо, с удовольствием. К полуночи город лежал тёмный, тихий и послушный. Но не весь. Кое-где — в моём Приморском, на Петроградке за чёрной Невкой, на Васильевском — упрямо горели окна. Одиночные, их можно было пересчитать по пальцам. За ними не спали те, кто не мог уснуть. Те, кто лежал рядом с человеком, которого им выбрали, слушал его ровное, правильное дыхание, смотрел в потолок и в сотый раз задавал себе вопрос, который боялся произнести вслух: «А что, если?..» Я смотрел на эти редкие огоньки, и что-то сжималось у меня в груди. Я знал этот город. Я любил его — так, как любят только то место, в котором родился. Я ненавидел его — так, как ненавидят только то, что любят. Я хотел его спасти. Или разрушить. Или просто дать ему шанс — тем, кто сейчас не спал за этими окнами, и тем, кто спал, тоже.

Она бы, наверное, спросила, нужен ли им вообще этот шанс. Она и спросила — однажды. И сейчас, в этой тишине, между вдохом и выдохом, я вдруг вспомнил её лицо. Не всё сразу — сначала глаза. Как она посмотрела на меня в тот самый первый раз, под холодным белым светом ламп, на секунду дольше, чем полагается смотреть на незнакомого. Потом голос — тихий, без упрёка, почти виноватый: «Ты правда думаешь, что они захотят быть свободными?» Я не знал ответа тогда. Не знал его и сейчас. Может быть, она была права. Может быть, людям вовсе не нужна свобода — им нужны тепло, предсказуемость и чтобы кто-то умный решал за них, когда спать, где жить и кого любить. Может быть, свобода — это просто красивое слово для страха. Может быть, завтра они проклянут меня — и будут правы. Я перебирал эти «может быть» сотни раз, бессонными ночами, глядя в свой собственный потолок, — и каждый раз приходил к одному и тому же. Нельзя решить за людей, что выбор им не нужен. Именно это с ними и сделали. Пусть он у них будет — даже если они выберут не выбирать.

Я заставил себя дышать ровно. Вдох — и холод входил в горло, как лезвие, заполнял лёгкие до самого дна, и на языке оставался вкус соли и стылого железа — вкус залива и высоты. Выдох — белое облачко пара, которое ветер тут же рвал в клочья и уносил прочь. Сердце колотилось в рёбра — часто, глухо, отчаянно; оно стучало в висках, в горле, даже в кончиках пальцев, которых я уже не чувствовал, и казалось, что его слышно сквозь вой ветра. Не от страха. Или не только от страха. От того, что я знал: через минуту всё изменится. Или ничего не изменится. Или я умру. Вариантов было три, и ни один из них не пугал меня настолько, чтобы повернуть назад.

Сирены выли давно, но здесь, наверху, в этом ветре, я расслышал их не сразу. Сначала они были частью ветра — тонким, едва различимым воем где-то на самом краю слуха, который можно было принять за что угодно. Потом отделились от него. Стали ближе. Завывание становилось всё отчётливее, нарастало, обступало башню со всех сторон, и на стёклах вокруг меня начали появляться отблески мигающих попеременно полицейских огней. Синий — красный — и снова синий. Они ползли по фасаду снизу вверх, этаж за этажом, как вода поднимается в затопленной шахте, и с каждой секундой становились ярче, пока не превратились во вспышки, выжигающие тень. Моя собственная тень металась по стеклу, ломалась, исчезала и

тут же вырастала с другой стороны, будто тоже искала, куда бы ей деться. Я смотрел на этот свет, как на старого знакомого. Я знал, что он придёт.

Он предупреждал меня, что так будет. Что система не даст мне уйти. Что меня настигнут — не сегодня, так завтра, не здесь, так в другом месте, — потому что от того, кто знает о тебе всё, спрятаться невозможно. Он говорил это спокойно, без нажима, как говорят о погоде, и я не стал спорить. Я и не собирался прятаться. Три часа я нёс этот пульт через весь город — обходя посты и камеры, сворачивая в подворотни, считая шаги и задерживая дыхание на каждом углу, — и всё это время знал, что эта крыша станет последней. Главное было не уйти. Главное было — успеть. Глаза снова защипало. Ветер. Или уже не только ветер.

За спиной грохнуло так, что заложило уши. Люк, ведущий на площадку, — тяжёлый, стальной, задраенный мной, — вынесло взрывом, и меня толкнуло ударной волной в спину. Я качнулся вперёд, к самому краю, и на одну секунду — длинную, бесконечную, растянутую, как резина, — повис над пустотой. Подо мной было почти семьсот метров воздуха и тумана, а город лежал далеко внизу, как на дне колодца. Сердце остановилось. Потом ударило дважды — за себя и за пропущенный раз. Ветер рванул куртку, потянул вниз, будто наконец решил, на чьей он стороне, но я поймал равновесие, откинулся назад и почувствовал под подошвами обледенелый металл края. Устоял. Носки ботинок — над бездной, пятки — на площадке, и между ними вся моя жизнь.

Я обернулся через плечо. Из дыма, один за другим, вылетали полицейские дроны. Восемь. Они выходили плавно, без суеты, и выстраивались полукругом, отрезая меня от люка, от лестницы, от всего, кроме края. Я знал эти машины всю свою жизнь — точнее, думал, что знаю. В городе их глаза всегда светились мягким, приятным голубым светом; они дежурили у переходов, провожали детей до школы, напоминали взять зонт, и дети махали им вслед, а они в ответ мигали — вежливо, по-доброму. Я ни разу не видел, чтобы их глаза были другого цвета. Сейчас они горели красным. Винты гнали мне в спину ледяной воздух, перемешанный с гарью, и красный свет заливал мои плечи, мои руки, пульт.

А потом из-за края, прямо передо мной, поднялись другие. Вот что ползло по фасаду снизу вверх, вспыхивая в стекле синим и красным, — не отблески машин внизу, а они сами. Городские дроны в туман не летают: их сажают на базу, пока не прояснится. Эти были иного рода — тяжёлые, втрое больше городских, с прожекторами под брюхом, — такие умеют подниматься вслепую, по приборам, медленно, держась поближе к стеклу, как слепой держится за стену. Сквозь туман, а потом сквозь ветер они шли вверх всё то время, пока я бежал по лестнице, и вынырнули над краем как раз тогда, когда за спиной вынесло люк. Три машины встали над пустотой, в паре метров от бортика, и упёрлись в меня прожекторами. Под брюхом у каждой висела свёрнутая сеть — на случай, если я шагну вперёд. Система предусмотрела и это: даже падение она собиралась у меня отнять. Деваться было некуда. Сзади восемь, впереди три, внизу семьсот метров, вверху только шпиль и небо.

Я смотрел в прожекторы — и мне вдруг стало смешно. Смешно от того, что я знал. Одиннадцать машин, взорванный люк, сирены на полгорода — и всё это ради одного замёрзшего человека с куском пластика в руке. А главное — всё это зря. Они опоздали. Я улыбнулся, и потрескавшиеся от холода губы тут же отозвались болью.

— Гражданин, — произнёс металлическим голосом дрон, висевший ближе всех, прямо передо мной, над пустотой. — Медленно поднимите руки и опуститесь на колени. Сохраняйте спокойствие. Вам ничего не угрожает.

Голос был ровный, почти ласковый. Ни злости, ни угрозы — система не злится, она этого просто не умеет. Она заботится. Даже сейчас, окружив меня одиннадцатью машинами с красными глазами, она искренне обо мне заботилась, и в этом, если подумать, и было самое страшное.

Я улыбнулся ещё шире.

— Вы опоздали. Сейчас все узнают правду.

Большой палец сам нашёл кнопку. Пластик был тёплым — он грелся во внутреннем кармане все эти часы, а потом в моей ладони и теперь был единственным тёплым, что во мне вообще осталось. Где-то далеко внизу спали миллионы людей и не знали, что вся их жизнь сейчас лежит под одним пальцем замёрзшего человека на краю площадки. Мне вдруг захотелось сказать им что-нибудь — извиниться, попрощаться, предупредить. Но слов не было. Был только ветер.

Вдох. Выдох. Белое облачко пара.

Я нажал.

Первой отозвалась башня. Под ногами что-то изменилось: глубокий, едва ощутимый гул, который пятнадцать лет был здесь всегда и который я расслышал только этой осенью, вдруг оборвался, и тишина ударила в подошвы сильнее взрыва. Лахта моргнула — и погасла вся, кроме красных огоньков на шпиле у меня над головой. Стекло вокруг меня почернело, отблески сирен исчезли, а через секунду темнота покатилась дальше: вниз, вдоль берега, через реку, биом за биомом, квартал за кварталом. Погасли Ростральные колонны, погасла игла Адмиралтейства вместе со своим корабликом, погас ангел над Петропавловкой. Город, словно огромная ёлочная гирлянда, вилку которой выдернули из розетки, выдохнул свет. Он уходил волной — не мгновенно, но быстро и неотвратимо, как тень от тучи бежит по полю, — и я смотрел, как эта волна убегает от меня к горизонту, пока не добралась до самого последнего края.

Дальше, за горизонтом, я её уже не видел — но знал, куда она бежит. Страну давно поделили на большие биомы, как город на малые, и сейчас темнота неслась по ним всем сразу, через одиннадцать часовых поясов. В Калининграде, где до полуночи оставался ещё час, погасли окна над Преголей. В Москве на три секунды стёрлось кольцо стеклянных башен. Темнота перешагнула Волгу — Нижний, Казань с Иннополисом за рекой, Самару, — скатилась на юг, к Краснодару, к Ростову, к набережным Мариуполя, а потом повернула на восток и пошла через Урал в Сибирь: Оренбург, Екатеринбург, где было уже два часа ночи, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск над чёрным Енисеем, Иркутск, где до рассвета над Байкалом было ещё далеко. Вышла к Тихому океану — во Владивосток, где было семь утра, где люди уже стояли на остановках с первым кофе и, наверное, так и не поняли, почему на три секунды погасли фонари на Золотом мосту, — а оттуда, через Охотское море, в Магадан и на Камчатку, где над вулканами уже светало.

Темнота. Не такая, как в кино, а настоящая — густая, первобытная, какая стояла здесь триста с лишним лет назад, когда Пётр ещё не пришёл на эти берега и здесь не было ничего, кроме леса, болот и ветра. И всё-таки не совсем. Кое-где в этой черноте горели огни, и я вдруг понял, что смотрю на всё, что «Гармонии» никогда не принадлежало. Красные огоньки на шпиле надо мной и на макушках Первой и Третьей Лахт — чтобы в них не врезались самолёты. Цепочки посадочных огней далеко на юге, в Пулкове. Маяк в Кронштадте, который мигал так же, как мигал двести лет до всякой «Гармонии». Редкие ровные окна больниц. Город погас, а то, без чего ему не прожить и трёх секунд, осталось. Дроны висели в воздухе — и те, что за спиной, и те, что над пустотой, — а прожекторы и глаза у них погасли. Ни сирен, ни гула. Только ветер и стук моего сердца. Раз. Два. Три. Три секунды тишины. Три секунды темноты. Три секунды, когда этот город принадлежал только самому себе.

А потом огни вспыхнули снова. Но уже по-другому. Сначала фонари — те же, ровные, правильные, будто ничего и не было. За ними снова затеплилось золото Исаакия, вспыхнула игла Петропавловки, и ангел на ней снова смотрел на город, а на Адмиралтействе снова плыл в темноте его маленький кораблик. Под ногами снова загудела башня. А потом начали загораться окна. Город, который система совсем недавно так бережно уложила спать, вдруг стал зажигаться изнутри: одно окно, второе, десять, сотня — в моём Приморском, на Петроградке,

на Васильевском, на самом дальнем краю, везде сразу. Это был не верхний свет, а другой — слабый, голубоватый, дрожащий. Экраны. Телефоны на прикроватных тумбочках, которые одновременно вспыхнули в темноте миллионов спален. Свечи на огромном торте загорались заново, одна за другой, и я смотрел, как посреди ночи просыпается город, ещё не понимая, зачем его разбудили.

Дроны замерли. Их глаза растерянно мигали — красный, короткая вспышка голубого, снова красный, — будто машины никак не могли решить, кто они теперь такие. Они не получили команды. Система молчала. И я засмеялся — громко, в голос, так, как не смеялся уже много лет. Ветер подхватил мой смех и унёс его в туман, в залив, в бесконечность.

— Поздно, суки.

Я разжал пальцы. Пульт полетел вниз — я видел, как он кувыркается в воздухе, как блеснул в свете окон и растворился в белой мгле. Он больше был не нужен.

И в эту секунду в кармане завибрировал телефон. Я достал его не сразу — пальцы не слушались, и телефон выскальзывал из онемевшей ладони, как живой. Пятнадцать лет, год за годом, сюда приходило одно и то же сообщение. Слово в слово. Вежливое, тёплое, неизменное. Я давно выучил его наизусть. Экран осветил моё лицо, и я прочитал то, что сейчас читал весь город.

Это было другое сообщение.

И мне стало страшно. Не так, как час назад, когда за мной гнались по лестницам, и не так, как минуту назад, когда я висел над пустотой. По-другому. По-настоящему — впервые в жизни.

Понеслась…

Часть первая
«Пожалуйста, подождите»

ГОСУСЛУГИ · «ГАРМОНИЯ»

14 октября 2056 года, 14:00

Уважаемый Максим Андреевич!

Поздравляем вас с днём рождения!

Ваш профиль находится на этапе дополнительной обработки. Мы делаем всё возможное, чтобы подобрать для вас самый гармоничный вариант.

Ваш статус: ОЖИДАНИЕ

Идёт обработка. Пожалуйста, подождите.

С заботой о вас — «Гармония»

Глава 1
Тридцать пять

Свой тридцать пятый день рождения я встретил в беседке. Не в той, где пьют чай с вареньем и спорят о жизни, а в нашей, высотницкой: узкая доска на стропах, два карабина, страховочный трос, ведро с раствором на поясе — и шестьсот метров пустоты под подошвами. Было семь утра, четырнадцатое октября, и Вторая Лахта, ещё сонная, серая, в мелких каплях ночной мороси, медленно проступала из темноты, как фотография в проявителе. Я висел у восточной грани, там, где стекло первым встречает рассвет, тянул по нему мокрый стяг и смотрел, как вместе с полосой чистого стекла в нём появляется моё отражение: шапка, капюшон, красный от ветра нос, глаза, которые за ночь так и не выспались. Тридцать пять, сказал я отражению. Отражение промолчало. Оно, в отличие от меня, никогда не спорило с очевидным.

Работа у нас простая только со стороны. Казалось бы — висит человек на верёвке и моет окно. На самом деле на такой высоте всё вокруг живое и всё против тебя. Башня дышит: в сильный ветер её верхушка уходит в сторону почти на метр и медленно возвращается обратно, и если долго висеть у стекла, начинаешь чувствовать это раскачивание животом, как на палубе. По утрам в октябре на стекле намерзает тонкая, почти невидимая корка, и стяг по ней скользит, как по катку, а ботинки ищут упор и не находят. Чайки живут на технических карнизах целыми колониями и считают нас незваными гостями: орут, пикируют, норовят клюнуть в капюшон. А стекло отражает небо так честно, что иногда, особенно в пасмурный день, на минуту теряешь, где верх, а где низ, — облака плывут и над головой, и прямо перед лицом, а ты висишь посреди них, как в аквариуме, где вместо воды — воздух. Новички в первый месяц плачут по ночам. Я не плакал. Я с самого первого дня почувствовал здесь то, чего мне никогда не хватало внизу: тишину, в которой никто ничего от тебя не ждёт. Здесь, наверху, за шестью сотнями метров пустоты, до меня не дотягивалось ничего — ни взгляды, ни вопросы, ни вежливое сочувствие. Только ветер, стекло и город, который отсюда видно целиком.

Внизу, под ногами, просыпались улицы и каналы. Октябрьский Петербург не торопится с утром: сначала над заливом светлеет полоска неба цвета разбавленного молока, потом из неё, как из-под воды, всплывают крыши, потом начинают один за другим гаснуть фонари вдоль Приморского проспекта, и только после этого, нехотя, с недовольным видом человека, которого разбудили слишком рано, поднимается солнце — если вообще поднимается, потому что в октябре оно часто решает не утруждаться и оставляет город на попечение облаков. Сегодня оно решило. По Приморскому проспекту поползли первые беспилотные автобусы, длинные и бесшумные, похожие на гусениц из светлого стекла, а над крышами по невидимым воздушным коридорам потянулись цепочки грузовых дронов с утренними заказами. Тусклый медный свет лёг на залив, на мокрые крыши Старой Деревни, на излучину Большой Невки, и где-то там, в путанице дворов, между гаражами и старыми тополями, стоял мой дом — пятиэтажный, кирпичный, с покосившимся козырьком над парадной, — и у парадной, на лавочке, наверняка уже сидел Николай Петрович со своим термосом. С шестисот метров его, конечно, было не разглядеть. Но я знал, что он там. Он там был всегда, сколько я себя помню, — ну, почти всегда.

Николай Петрович вернулся с войны, когда мне было шесть. Я плохо помню, что тогда говорили по телевизору, — взрослые говорили много, громко и с какими-то особенными лицами, а я больше смотрел на кошку, которая жила у нас под лестницей. Но тот день, когда он вернулся, я помню так ясно, будто это было на прошлой неделе. Весь дом высыпал во двор. Женщины плакали, мужики курили и неловко хлопали его по плечу, а он стоял посреди двора в выгоревшей форме — худой, коротко стриженный, с лицом, которое было одновременно очень молодым и очень старым, — и улыбался всем сразу, как будто извинялся за то, что вокруг из-

за него столько шума. Потом он долго жил тихо. Работал где-то на заводе, по вечерам сидел на лавочке, и ни о чём таком никогда не рассказывал. Зато узлы вязал так, как не умел никто во дворе: беседочный, восьмёрку, схватывающий, — и научил меня всем, ещё до того, как я узнал, зачем они нужны. «Узел, Максимка, — говорил он, — это когда ты за себя отвечаешь. Завязал — значит, проверил. Не проверил — значит, не завязал». Двадцать девять лет спустя я висел на высоте шестисот метров на узлах, которым он меня научил, и каждый раз, прежде чем шагнуть за парапет, проверял их по два раза. Так он и вошёл в мою работу, хотя ни разу в жизни не поднимался выше пятого этажа и высоты, по его собственному признанию, боялся до тошноты.

Вообще, если подумать, вся моя жизнь лежала сейчас подо мной, как карта, и стоило только опустить глаза, чтобы найти на ней любой год. Вон школа на Яхтенной — серая коробка с оранжевым спортзалом, — куда в третьем классе к нам пришёл Тимур из Мариуполя. В первый же день он заявил, что у них море тёплое, а наш залив — лужа, и полкласса после уроков отправилось с ним драться за честь Финского залива. Драка не задалась: Тимур оказался выше всех на голову и в итоге сам повёл нас на берег показывать, как правильно пускать блинчики. Он прожил у нас четыре года, а потом, когда его город отстроили заново, уехал домой и до сих пор присылает мне фотографии своего тёплого моря — с подписью «а у вас опять туман?». У нас опять туман. У нас всегда туман, Тимур, и мы его за это любим.

А вон там, если взять правее, за Елагиным, за серой водой Невки, начинался центр — и туда, на Невский, мама в начале тридцатых водила меня смотреть на вывески. Тогда, после долгих лет, снимали санкции, и в город одна за другой возвращались компании, которые когда-то из него ушли. Каждая вернувшаяся вывеска была маленьким праздником. Мама останавливалась перед очередной стеклянной дверью, за которой пахло кофе и свежей выпечкой, и говорила: «А вот здесь мы с папой сидели, когда только познакомились», — и улыбалась так, как улыбаются вернувшимся из эмиграции родственникам: немного обиженно и очень радостно. Мне было лет десять, и я не очень понимал, почему взрослые так волнуются из-за кофейни. Сейчас понимаю. Город, у которого отняли его привычки, похож на человека, у которого отняли его вещи: вроде бы жить можно, но всё время кажется, что ты в гостях.

Мама с папой, кстати, познакомились в очереди за шавермой. Это наша семейная легенда, и я её очень люблю, потому что в ней нет ровным счётом ничего возвышенного. Осень девятнадцатого года, ларёк у метро «Старая Деревня», дождь, очередь из пяти человек, и папа, который стоит за мамой и громко, на всю очередь, говорит продавцу: «Мне как девушке, только без лука, а то вдруг поцелуемся». Мама обернулась, чтобы сказать ему что-нибудь резкое, — и не сказала. Никто им ничего не подсказывал. Никто не высчитывал вероятность, не сравнивал профили, не обещал девяноста четырёх процентов счастья. Был дождь, была шаверма и была глупая фраза, которую мама потом вспоминала тридцать лет — то со смехом, то со слезами. Они были из последних, кто выбирал сам. Я тогда, конечно, не знал, что это так важно. Тогда это казалось всего лишь смешной историей про лук.

Папа разводил мосты. Не в переносном смысле — в самом прямом. Двадцать лет он работал механиком на Дворцовом, сидел ночами в маленькой будке над водой и в положенный час, минута в минуту, поднимал в небо его тяжёлые крылья. Однажды, мне было лет восемь, он взял меня с собой на смену. Я помню жёлтый свет лампы, запах машинного масла и горячего чая из термоса, гудение моторов где-то под ногами и то, как медленно, торжественно, будто нехотя, поднимается перед нами половина моста — с фонарями, с разметкой, — как поднимается, заслоняя собой половину неба, а за ней открывается Нева, чёрная, широкая, вся в дрожащих огнях, и по ней, совсем рядом, проходит баржа, и кто-то с баржи машет нам рукой. «Видишь, — сказал тогда папа, — город на ночь распадается на острова, а утром мы его обратно собираем. Каждый день. И никто не говорит спасибо». Он сказал это без обиды, даже с какой-то гордостью. Думаю, именно в ту ночь я и полюбил высоту. Не за то, что с неё далеко видно, а

за то, что сверху понимаешь, как всё устроено: где что держится, где что соединяется и что будет, если отпустить.

Потом пошла та жизнь, которую теперь называют цифровым рывком, а тогда никто никак не называл — она просто шла, и всё. Мне было пятнадцать, когда в школе появились первые линзы. Ранние модели натирали глаза и вызывали головную боль, и половина класса ходила с красными глазами, как после бессонной ночи, но гордо, потому что над учительницей математики висела маленькая светящаяся надпись с её настроением, и мы впервые в жизни точно знали, когда лучше не спрашивать про оценки. Через пару лет линзы стали мягкими, невидимыми и обязательными, как когда-то телефоны. Пустили вакуумный поезд до Москвы, и папа, у которого был выходной, повёз меня туда — просто так, чтобы съесть мороженое на Красной площади и вернуться к ужину. Сорок минут туда, сорок обратно. Мы ели мороженое, мёрзли, смеялись, и он всё повторял: «Ну ты подумай. Сорок минут. Твой прадед на Москву три дня ехал». А потом у каждого из нас появился цифровой профиль — сначала в Госуслугах, потом в «Максе», потом, кажется, вообще везде, — и жизнь постепенно переехала в цифру целиком: документы, деньги, врачи, учёба, работа. Поначалу всё это было удобно. Потом стало привычно. Потом стало так, что по-другому никто уже и не помнил.

А в сороковом году пришла «Гармония».

Я помню тот вечер. Мы ужинали втроём на кухне, и по телевизору — у нас ещё был настоящий телевизор, большой, папин, — показывали торжественное объявление. Люди в хороших костюмах говорили правильными голосами о том, что в стране больше не будет одиночества. Что наши учёные создали систему, которая знает о человеке больше, чем он сам, и поможет каждому найти того единственного, с кем он будет по-настоящему счастлив. Без ошибок. Без разбитых сердец. Без лет, потраченных не на тех. Имён создателей не называли — говорили просто «наши учёные», и от этого почему-то было ещё торжественнее, как будто систему придумал не кто-то конкретный, а сама страна. Мама слушала, подперев щёку рукой, и молчала. Папа сказал: «Ну, надо же. А мы-то с тобой, Люда, как дураки, в очереди познакомились». И мама засмеялась, и я тоже засмеялся, а потом заметил, что мама больше не смеётся, а смотрит на папу, долго и внимательно, как будто проверяет, на месте ли он.

Волновалась мама зря. Женатых «Гармония» не трогала — об этом в том же объявлении сказали отдельно и с нажимом: система не разлучает, система соединяет и укрепляет. Тем, кто уже жил вместе, — со штампом или без (она и так знала всех наперечёт), — пары не приходили. Вместо пары им посчитали индекс их собственного брака, по двум профилям, как считали новым парам, и тем, у кого он вышел низким, предложили семейную коррекцию — вежливо, добровольно и очень настойчиво. Мама линз не носила, поэтому их индекс узнал папа. Прочитал, хмыкнул и сказал: «Шестьдесят один процент. Остальные тридцать девять, Люда, — это мосты». От коррекции он отказался в тот же вечер: сказал, что мост к маминому сердцу он как-нибудь сведёт сам. Мама махнула на него полотенцем, и больше мы к этому не возвращались.

Через год открыли эту башню. Через год мне исполнилось двадцать. Первый год «Гармония», как объясняли по телевизору, только знакомилась со страной, собирала данные, а пары начала присылать на следующий год, в день своего запуска: в первый раз — всем сразу, кто к тому времени дорос, а дальше каждому в его день рождения. Годовщина пришлась на четырнадцатое октября — на мой двадцатый день рождения.

Мы ждали тот день всей компанией — я, Серёга Воронин, Димка Филимонов, Танька Белова и ещё человек пять из нашего двора, кому тоже выпало двадцать или восемнадцать в одну осень. Собрались в Парке 300-летия на берегу, на большом камне, где всегда собирались, взяли с собой газировки, чипсов, сидели, дружно глядя на залив, на ещё новенькую, сияющую Вторую Лахту, и каждые пять минут кто-нибудь проверял время. Уведомления приходили в два часа дня. Ровно в два у всех вокруг одновременно засветились линзы. Танька завизжала:

ей пришёл какой-то Кирилл с Петроградки, высокий, в очках, девяносто один процент. Серёге пришла Оля из Юго-Западного — он потом на ней женился и теперь шлёт мне фотографии детей. Димке — девушка из Москвы, и он полдня ходил ошалевший и повторял: «Москва, прикинь, Москва», как будто ему достался билет на Луну. Все показывали друг другу фотографии, проценты, смеялись, обнимались, и над каждым в линзах у остальных уже горели крошечные новые огоньки — знак того, что человек теперь занят, что у него есть пара, что его жизнь началась. А у меня в линзах было поздравление с днём рождения и ещё три строчки: «Ваш профиль находится на этапе дополнительной обработки. Пожалуйста, подождите».

«Ну, значит, у тебя что-то особенное, — сказала Танька и погладила меня по плечу. — Не могут подобрать, потому что ты сложный». Все согласились, что я сложный, и это было даже приятно. Я сам в это поверил. Сложный — это ведь почти комплимент. Сложного не бросают, над сложным думают дольше. И я стал ждать.

В том же письме, ниже, отдельным пунктом, шло то, что в тот день приходило всем, — направление. У Серёги там стояла одна строчка: «Судостроение. Адмиралтейские верфи». У Таньки — «Педагогика. Дошкольное воспитание». А у меня был список: «Рекомендованная сфера: работы на высоте. Варианты: промышленный альпинист, монтажник-высотник, мойщик фасадов высотных зданий, антенщик. Основание: низкая тревожность на высоте. Выбор за вами». Всем назначили, а мне дали выбрать, и тогда мне это даже польстило. Я выбрал фасады — стекло, стропы и город под ногами. Почему у всех строчка, а у меня список, я тогда не задумался. Задумался только через пятнадцать лет.

Через неделю тем, кому пришла пара, прислали суфлёров. Суфлёр тогда жил ещё не в линзах, а в ухе: серая пластмассовая капля, которая к вечеру нагревалась и шептала с опозданием на полсекунды, — поэтому все пары первого года разговаривали, как по междугородней связи. Года через два суфлёр переехал в линзы, и паузы исчезли. Мне суфлёра не прислали: подсказывать мне было некому.

Собственно, с тех пор и прошло пятнадцать лет. Таньке с её Кириллом давно дали квартиру на Петроградке. Димка уехал в Москву — работу и квартиру там ему подобрала система, переезд к паре входил в подарок, — и живёт там с женой. А у Серёги трое пацанов, и старший уже ходит в ту же школу на Яхтенной — только теперь она мужская. Я поднялся с той первой высоты, на которую меня когда-то привёл отец, до шестисот метров. Над тем «основанием» в письме я тогда долго смеялся. Тревожность у меня, может, и низкая. Но только на высоте. А вот на земле, по вечерам, в пустой квартире двумя этажами выше маминой, куда я после похорон забрал папину кружку с отбитой ручкой, с тревожностью у меня всё было в полном порядке.

Папа умер в сорок девятом. Свёл среди ночи Дворцовый мост, как сводил тысячу раз до этого, посмотрел, как по нему проехала первая машина, сел на табуретку в своей будке — и больше не встал. Сердце. Врачи потом говорили, что система наверняка предупреждала его о рисках, и, скорее всего, так оно и было, — только папа уведомлений не читал. Говорил, что мост сам знает, когда его поднимать, и сам он, папа, как-нибудь тоже разберётся, без подсказок. Разобрался.

После этого город поделили на биомы. То есть, конечно, не после этого — просто у меня в памяти эти две вещи почему-то легли рядом. Сначала это были просто слова в приложении: мы проснулись однажды, а наш Приморский район стал Приморским биомом, соседняя Петроградка — частью Центрального, а Крестовский остров, где раньше просто гуляли по выходным, вдруг стал отдельным, своим, для своих. Потом на границах появились рамки — тонкие стеклянные арки на переходах и мостах, которые никого не останавливали, а просто запоминали, кто куда идёт. Потом у каждого биома появился свой распорядок, свои рекомендации, свой климат: у нас в Приморском, например, тучи разгоняли по субботам — правда, осенью залив позволял это через раз, — а на Петроградке по четвергам, и мы шутили, что погоду теперь тоже назначают по прописке. По телевизору говорили, что мы прочно держимся в тройке веду-

щих стран мира — вместе с американцами и китайцами, — и папа, будь он жив, наверняка сказал бы, что для мостов это ничего не меняет: разводятся всё так же, по расписанию. Мосты и правда разводились по расписанию. Это вообще было единственное, что в городе не поменялось ни на минуту.

А страна тем временем менялась так, что иногда казалось, будто её подменили, пока мы спали. Война кончилась, когда мне было шесть; четыре области вернулись, и следующие десять лет вся страна что-нибудь строила. Мариуполь, куда уехал Тимур, отстроили почти с нуля, и теперь он присылает мне фотографии набережной, где всё новое, кроме моря. Москва обросла кольцом стеклянных башен и стала узлом вакуумных линий: до Казани час, до Екатеринбурга два с половиной, и люди спокойно жили в одном городе, а работали в другом. А для тех, кто никуда не торопился, построили Николаевскую линию — медленное метро по старой Николаевской дороге, со станцией в каждом городке: от питерского «Рыбацкого» через Колпино, Тосно, Любань, Чудово, Малую Вишеру и Окуловку до Бологого. В Бологом, ровно на середине пути, стоял хаб, который все звали «Полпути»: длинный стеклянный зал, на одной стене схема петербургского метро, на другой — московского, а на полу латунная черта, через которую люди перешагивали из питерского состава в московский и ехали дальше, через Вышний Волочёк, Тверь, Клин и Зеленоград, до «Ховрина». Вакуумом до Москвы было сорок минут, Николаевской — полдня, но билет стоил как в метро, за окном плыли леса и озёра, и по выходным составы шли битком: на дачи, на Валдай, к бабушкам в Окуловку. Папа говорил, что это первая за двести лет дорога, построенная не для того, чтобы быстрее, а для того, чтобы по пути. Казань с её Иннополисом стала столицей всего, что связано с машинным разумом, Новосибирск со своим Академгородком — столицей медицины, Мурманск — воротами Северного морского пути, по которому теперь круглый год ходили атомные ледоколы, а Владивосток — главным портом на Тихом океане, куда молодые ехали за деньгами, как когда-то их деды ехали в Москву. Якутия стала памятью страны: под Якутском, в вечной мерзлоте, построили дата-центры, где хранилось всё, что страна о себе знала, — холод там был даровой, места сколько угодно, а до больших городов далеко, и гул машин никому не мешал спать. Серверные стояли на сваях, чтобы не растопить мерзлоту, а их тепло отводили в теплицы, и в Якутске в пятидесятиградусный мороз ели свои помидоры. Башкирия перестроила нефтезаводы Уфы и Салавата под водород, и на башкирском водороде теперь ходили грузовики от Калининграда до Владивостока, а уфимские моторостроители делали двигатели для всех самолётов страны — от маленьких северных бортов до дальнемагистральных. И нас стало больше — сто пятьдесят два миллиона: дети рождались чаще, а старики умирали реже.

Дети рождались чаще не в последнюю очередь из-за жилья. Когда у страны наконец завелись деньги, первым делом взялись за то, о чём мама с папой когда-то говорили по ночам шёпотом, как о тяжёлой болезни, — за ипотеку. Её отменили в тридцать четвёртом, и вместо неё появился «Дом на вырост». Каждому ребёнку с рождения записывали на жилищный счёт восемнадцать квадратных метров — свои, которые нельзя ни продать, ни отнять, только жить. В двадцать лет человек получал «стартовую», маленькую, но собственную квартиру, и система старалась дать её в пешей доступности от родителей — чтобы мать могла донести пироги, пока не остыли. Новые дома строили из модулей, как пчелиные соты: родился ребёнок — за выходные к квартире пристёгивали соседний модуль, и стена, которая вчера была чужой, становилась детской. Дети вырастали — их модули отстёгивали обратно и превращали в их собственные «стартовые», так что из родительского дома теперь уходили не за тридевять земель, а за стенку. Ну а на третьем ребёнке семья получала свой дом с землёй — в Комарове, в Репине, в Павловске, у моря или у парка, — и этот дом оставался семье навсегда, от деда к внукам. Денег за всё это не брали: платили годами работы и детьми, а учителям, врачам, пожарным и тем, кто, как я, висит на верёвке над городом, метры начисляли быстрее. Сначала люди говорили, что так не бывает, потом получали ключи и переставали говорить. Серёга получил свои, когда

у них с Олей родился третий: переехал с семьёй из квартиры в Приморском в дом с участком в Юкках, среди сосен, и теперь каждое утро возит старшего в ту самую школу на Яхтенной. Рождаемость за десять лет выросла в полтора раза.

Правда, «Дом на вырост» рос вместе с парой, а пару назначала «Гармония». У тех, кому пары не назначили, дом не рос вовсе. Моя «стартовая» — двумя этажами выше маминой, в нашем старом кирпичном доме, где стены не пристёгиваются, — была всё той же стартовой, как и пятнадцать лет назад. Первая ступенька лестницы, на которой я так и стоял.

Отказаться от пары, кстати, никто не запрещал. Об этом в том первом объявлении тоже сказали отдельно и с нажимом: «Гармония» никого не принуждает. Она и не принуждала — она просто считала. Отказался — и профиль твой уходит «на дополнительную обработку», а сколько можно ждать оттуда следующую пару, я знал лучше всех. Работу тебе подбирают «с учётом изменившихся обстоятельств» — подальше от дома и пониже этажом. Друзьям приходит вежливое уведомление о «негативном влиянии на семейный рейтинг», и они перестают звонить. А если упрямишься и дальше, однажды приходит письмо с новым адресом — за КАДом, в Мурине. Твои метры при этом никто не отнимает: отнять их нельзя, так записано. Их просто переносят. За каждое «нет» здесь платили всей остальной жизнью, а «да» не стоило ничего. Люди посчитали — считать нас «Гармония» научила хорошо, — и почти все говорили «да».

Умирали реже, потому что медицина за эти годы научилась вещам, о которых в мамином детстве писали только в фантастике. Рак ловили на самой ранней стадии, по анализу крови, который браслеты и линзы делали сами, и лечили его уколами, а не так, как когда-то лечили прадеда. Диабет у детей излечивали выращенными клетками, наследственные болезни исправляли в генах ещё до рождения, а операции на сердце делал робот: хирург сидел в Новосибирске, пациент лежал в Хабаровске, и врач вёл чужие руки почти за четыре тысячи километров так же уверенно, как свои. Маме в сорок шестом заменили колено, разбитое ещё в юности на катке, — напечатали новое из её же клеток, — и через неделю она уже стояла в очереди на рынке и ругалась на цены как ни в чём не бывало. Средняя продолжительность жизни перевалила за восемьдесят пять, и восьмидесятилетние бегали по утрам в Парке 300-летия наперегонки с внуками. Даже рожать, как рассказывала потом Наташка, жена Витька, ходившая на курсы для будущих мам, стало не страшно: боль снимали так тонко и точно, что в родильных залах смотрели кино. Кажется, впервые в истории человечества женщины говорили друг другу «не бойся, это не больно» и не врали.

А машинный разум поселился во всём — не только в линзах и телефонах, но и в чайниках, лифтах, детских игрушках, в кнопке звонка у парадной. Витькин чайник по утрам здоровался с Наташкой и знал, что она пьёт чай с мятой; лифт во Второй Лахте шутил с пассажирами, причём, по общему мнению, лучше Витька; у Серёгиного младшего был плюшевый заяц, который помогал ему с английским и обижался, если его роняли. Говорили, что скоро заговорят и кирпичи. Кирпичи пока держались.

Поменялась и школа. С сорок первого года мальчиков и девочек стали учить отдельно — с детского сада до института. По телевизору объясняли спокойно и убедительно, с графиками: мальчики и девочки растут в разном темпе, им нужна разная нагрузка, разные предметы и разная подача, а порознь и те и другие учатся лучше — это доказано. Девочек готовили хранить дом и семью: домоводство, эстетика быта, основы материнства, основы семейной речи. Мальчиков — оберегать и защищать, добиваться для семьи лучшего, расти и зарабатывать: инженерное дело, экономика, право, начальная военная подготовка с пятого класса. Профессии никому не запрещали, их просто советовали. Девочкам — медицину, педагогику, дизайн и всё, что «совместимо с материнством». Мальчикам — остальное. Двери везде оставались открытыми, только в чужие никто не ходил: зачем, если ещё в первом классе тебе объяснили, где твоя. Наш выпуск успел доучиться вместе. С Танькой Беловой я три года сидел за одной

партой, списывал у неё русский, а она у меня физику. Сейчас бы нам такого не позволили: русский у девочек теперь другой, а физики у них почти нет.

А кем быть, решали ещё раньше школы. Каждому новорождённому «Гармония» составляла предварительный прогноз — не одну профессию, а веер из трёх-пяти, с процентами, — и дальше смотрела, как ребёнок растёт: через игрушки, планшеты, учителей, кружки. Год за годом веер сужался. Если ребёнок рос не туда, его сначала мягко поправляли — другой кружок, другие советы родителям, другие друзья, — а если не поправлялся, система без лишнего шума пересчитывала прогноз, и никто уже не помнил, что когда-то там стояло что-то другое. Девочку с сильной инженерной головой пускали в инженеры — в женский поток, маленький и почётный: «исключение по призванию». Мягкому мальчику с глазом на цвет давали стать дизайнером, только называлось это «инженер-проектировщик среды», чтобы мужчина оставался мужчиной хотя бы в дипломе. А в совершеннолетие — девушкам в восемнадцать, парням в двадцать — приходило одно письмо, где было всё сразу: пара, направление и биом.

Страна приняла всё это так, как принимает всё на свете: сначала удивлялась, потом ворчала, потом привыкла и перестала замечать. Старики поначалу не верили — Серёгина бабушка год не пускала в дом говорящий пылесос и крестила его, как нечистую силу, — а потом и они привыкли и уже не представляли, как жили без суставов из принтера и без врача, который звонит сам, раньше, чем у тебя заболело. Жизнь стала длиннее, сытее, здоровее и спокойнее. Об одном только не говорили: что случайного в ней становилось всё меньше. Но тогда этого никто не замечал. Я тоже.

— Макс! Уснул?

Голос Витька в наушнике рации выдернул меня обратно, на шестьсот метров, в мокрое октябрьское утро. Витёк висел метрах в двадцати левее, на соседней стропе, и махал мне свободной рукой. Ему было двадцать восемь, он работал в бригаде третий год и ещё не разучился радоваться высоте — болтал, пел, показывал пальцем на всё подряд и каждые полчаса присылал жене Наташе фотографии города.

— С днём рождения, кстати, — сказал Витёк. — Чуть не забыл. Наташка тебе тоже привет передаёт. Говорит, желает, чтобы твоя гармония поскорее тебя нашла.

— Спасибо, — сказал я. — Передай, что я её тоже жду.

— Кого — Наташку?

— Гармонию.

Витёк засмеялся, решив, что я пошутил, и снова принялся за своё стекло, напевая что-то себе под нос. Свою Наташу он получил четыре года назад, в двадцать четыре — поздновато по нынешним меркам, — и до сих пор рассказывал об этом так, будто с ним случилось чудо. Поздновато — потому что Наташка младше его на шесть лет, и «Гармония», вычислив её, когда ей было четырнадцать, честно ждала, пока она дорастёт до восемнадцати. Четыре года Витьку на день рождения приходило: «Ваша пара определена. Знакомство — в пятьдесят втором году», и все четыре года он, по его словам, тренировался быть хорошим мужем. Так ждали многие — год, два, четыре, пока подрастёт пара, — и поэтому никого в городе не удивляло, что кто-то ждёт. Только им, ждущим по-настоящему, называли год. Мне — нет. У Витька с Наташкой — девяносто три процента. Первое свидание на Севкабеле, в старом порту на самом краю Васильевского, — туда их отправила система, потому что оба, как выяснилось, любят воду, закаты над заливом и деревянные настилы. «И представляешь, — говорил он мне раз двадцать, не меньше, — она тоже любит чебуреки. Я ей говорю: а ты чебуреки любишь? А она: обожаю! Ну вот откуда система могла знать про чебуреки?» Я не знал откуда. Может, из истории покупок. Может, из чего-то ещё. Я слушал его и думал, что у моих родителей в истории были дождь и лук, а у Витька — проценты и чебуреки, и что Витёк, кажется, ничуть не менее счастлив, чем были они. Я ему не завидовал. Почти. Он был хороший парень, честный и весёлый, и его счастье было настоящим — по крайней мере, он в нём ни секунды не сомневался,

а это, по-моему, и есть главный признак настоящего. А я поймал себя на том, что эту фразу — «чтобы твоя гармония поскорее тебя нашла» — сегодня уже слышал. Ещё в шесть утра, когда я проснулся, мне пришло сообщение от Таньки Беловой, и там было то же самое, слово в слово. Через минуту — от Серёги: «Желаю, чтобы твоя гармония поскорее тебя нашла». Через полчаса — от тёти из Пскова. Я читал эти одинаковые слова от разных людей и представлял, как у каждого из них в линзах в нужный момент всплыла аккуратная строчка: «Сегодня у Максима день рождения. Предлагаемое поздравление: …» — и каждый, не задумываясь, нажал «Отправить». Я на них не обижался. Чего обижаться? Люди давно привыкли, что правильные слова за них подбирает тот, кто знает правильные слова лучше. Суфлёр подсказывал им, как поздравить мужа с годовщиной, как утешить подругу, как попросить у начальника отпуск и как помириться с женой после ссоры. Наверное, это очень удобно. Мне просто не с чем было сравнивать: мне суфлёр никогда ничего не подсказывал. В моих линзах всегда было пусто.

Это, пожалуй, надо объяснить, потому что для любого нормального человека моя жизнь выглядела бы странно. Когда ты идёшь по улице, линзы показывают тебе над каждым прохожим едва заметный светящийся ореол — совместимость с тобой. Девяносто процентов — тёплое золото, семьдесят — бледно-жёлтый, пятьдесят — еле видная серая дымка. Это не значит, что ты должен подходить к каждому, у кого золото, — у большинства людей своя пара давно есть, и ореол просто вежливо напоминает, кто тебе по душе, а кто нет, чтобы ты не тратил время на тех, с кем всё равно не сложится. А у тех, кто уже в паре, под ореолом стоит ещё и маленькая подпись — имя второй половины и процент. А у меня над людьми не светилось ничего. Совсем. Пятнадцать лет я ходил по городу, в котором над каждой головой висели цифры, и не видел ни одной. Как будто все вокруг разговаривали на языке, которого я не знаю, и вежливо делали вид, что не замечают этого. Сначала мне было обидно. Потом я привык. А потом, где-то годам к тридцати, понял, что это даже по-своему хорошо: я смотрю на людей и вижу людей. Лица, а не проценты. Не уверен, что это было преимуществом. Но больше у меня всё равно ничего не было.

К полудню мы с Витьком закончили восточную грань и спустились на обед. Служебный лифт с отметки шестьсот метров идёт вниз долгих четыре минуты, и всё это время уши закладывает, а в животе становится легко и пусто, как в детстве на качелях. Внизу было холодно, сыро и по-октябрьски неуютно. Над площадью у подножия башни висели два полицейских дрона, лениво поводя голубыми глазами. Мимо проползали жёлтые роботы-курьеры с коробками, аккуратно объезжая лужи и спотыкаясь о поребрик, — я всегда за них немного переживал, когда они переваливались через него, как маленькие неуклюжие собаки. Витёк побежал в столовую для персонала, а я, как всегда в свой день рождения, поехал к метро «Старая Деревня» — к тому самому ларьку.

Ларёк за тридцать семь лет сменил три вывески, двух хозяев и целую эпоху, а шаверма в нём осталась той же самой. Ну, может, не той же — но такой, какую я помнил с детства, когда папа по субботам покупал нам две большие и мы ели их прямо на улице, обжигаясь и капая соусом на куртки. В Питере это шаверма, и никак иначе. Человек, который в Петербурге говорит «шаурма», выдаёт себя с головой — как шпион, который в кафе заказывает «кофе» среднего рода. Я взял одну, большую, без лука — по папиной традиции, хотя целоваться мне сегодня было абсолютно не с кем, — и встал под козырёк, глядя, как над Приморским проспектом ветер гонит низкие облака. Дождь собирался, но никак не мог собраться. Над входом в метро беззвучно мигала голографическая стрелка, показывая, куда идти, хотя туда, куда она показывала, люди ходили уже почти шестьдесят лет.

Позвонила мама. Она линзы так и не надела — ни тогда, в тридцатых, когда их носили все, ни потом, когда их стали носить даже собаки-поводыри. Говорила, что у неё от них кружится голова, а по-моему, ей просто не нравилось, что кто-то посторонний смотрит на мир

через её глаза. Она звонила по старому телефону, держала его у уха, как в фильмах её молодости, и говорила своими собственными, неправильными, неловкими словами.

— Максимушка, — сказала мама. — Я пирог испекла. С капустой. Как ты любишь. Ты придёшь вечером?

— Приду, мам.

— Только ты не грусти там, ладно? — Она помолчала. — Я знаю, у тебя сегодня опять это придёт. В два часа. Ты не грусти. Папа бы сказал, что ты просто не из тех, кого можно посчитать.

— Папа бы сказал, что мост сам знает, когда подниматься.

— Вот, — сказала мама, — и это бы тоже сказал.

Она засмеялась, и я засмеялся, и минуту мы просто молчали в трубку, каждый в своём месте: она в Старой Деревне, у старого телефона в прихожей, в двух шагах от кухонного окна, из которого когда-то было видно, как растёт эта башня, а я под козырьком у метро, с остывающей шавермой в руке. Потом она сказала: «Ну всё, всё, работай, не замёрзни там на своей верхотуре», — и положила трубку первой, как всегда. Мама никогда не умела прощаться. Ни один суфлёр её этому так и не научил.

В два часа я снова был на стене. Мы перешли на южную грань, и теперь за спиной у меня был залив — широкий, свинцовый, в белых барашках, — он отражался в мокром стекле передо мной, а правее, если повернуть голову, далеко-далеко, в дымке, проступал весь город. Я не смотрел на часы. Я никогда в этот день не смотрел на часы: и без того знал, когда это случится. Ровно в два в левом углу линзы зажёгся маленький значок, и перед глазами развернулся аккуратный светлый прямоугольник.

Шестнадцатый раз. Слово в слово. Поздравление с днём рождения — тёплое, правильное, без единой ошибки. «Ваш профиль находится на этапе дополнительной обработки». «Мы делаем всё возможное». «Пожалуйста, подождите». Я однажды выписал все эти сообщения в столбик — у меня тогда была такая полоса, когда хотелось за что-нибудь ухватиться, хоть за запятую, — сравнил и с тех пор каждый год добавляю в столбик новое. Они не отличались ничем. Ни одной новой запятой, ни одного нового слова. Только год в дате менялся. Первое пришло в двадцать, шестнадцатое — сегодня: пятнадцать лет ожидания, шестнадцать одинаковых писем, как шестнадцать одинаковых окон в доме напротив, в которых никогда не зажигается свет. И каждый раз, читая это, я чувствовал одно и то же — не боль, нет, боль давно ушла, — а что-то вроде лёгкого, привычного стыда. Как будто я стою в очереди, в которой стою дольше всех, и все, кто пришёл после меня, уже прошли, а я всё стою, и уйти неудобно, потому что вдруг меня вызовут как раз в ту минуту, когда я выйду.

Надежда — штука живучая. Её можно морить голодом годами, а она всё равно сидит в каком-то дальнем углу и ждёт, когда ей бросят крошку. Пятнадцать лет мне бросали одну и ту же крошку — «пожалуйста, подождите», — и я каждый раз подбирал её и нёс домой. Я давно не верил, что однажды там, в этом аккуратном прямоугольнике, появится имя, фотография и проценты. Не верил — но ждал. Это разные вещи — кто ждал, тот знает.

Я смахнул сообщение и снова взялся за стяг.

— Опять? — негромко спросил Витёк в рации. Он висел чуть ниже и, видимо, заметил, как я замер.

— Опять.

Он помолчал. Я знал, что сейчас у него в линзах наверняка всплыла какая-нибудь аккуратная строчка вроде «Поддержите коллегу. Предлагаемая фраза: …», и ждал, что он её прочитает. Но Витёк вдруг набрал полную грудь воздуха и затянул во всё горло что-то из старого, ещё дедовского рока, безбожно перевирая слова и не попадая ни в одну ноту. Чайки с карниза снялись разом, с оскорблённым криком. Бригадир по общей связи спросил, кто там режет кошку на южной грани. А я висел на стропах над заливом и смеялся так, что пришлось ухва-

титься за трос. Никакая система не подсказала бы ему этого. Это он придумал сам — глупо, громко и очень вовремя. Я тогда впервые подумал, что, может быть, люди ещё не совсем разучились. Просто им редко дают повод.

К вечеру ветер усилился, и бригадир снял нас со стены на час раньше. Витёк укатил домой к своей Наташе, остальные разошлись по раздевалкам, а я задержался на техническом этаже под самой крышей, перебирая снаряжение, — нарочно медленно, нарочно долго, потому что знал: если повезёт, будет сбой. Сбои случались нечасто, раз-два в месяц, и никто никогда толком не объяснял, откуда они берутся. Может, обновления. Может, перегрузка. А может, система, как всякий живой организм, иногда устаёт. В такие минуты линзы на мгновение становились серыми, в углу появлялась вежливая надпись «Технические работы. Приносим извинения за неудобства», и на десять, двадцать, иногда почти на час город оставался сам по себе. Камеры, конечно, продолжали снимать. Но никто — ни на что — не смотрел.

Мне повезло. В половине шестого линзы мигнули и посерели.

Я поднялся по скобам служебной лестницы на самый верх, туда, где кончаются этажи и начинается шпиль, откинул тяжёлый люк и вылез на крышу. Сюда нельзя было никому без наряда, а наряда у меня не было. Здесь не было ни перил, ни ограждений — только узкая металлическая площадка вокруг основания шпиля, обледеневшая по краям, и ветер, который на этой высоте не дул, а жил своей собственной жизнью. Этой площадки на картинках не было: в проекте Вторая Лахта сходилась в иглу без единого выступа. Но на шпиль повесили какие-то государственные антенны — про которые нам говорили одно слово: «связь», — а антеннам нужен человек с ключом. Так у основания иглы, на отметке шестьсот восемьдесят, появилось узкое стальное кольцо — для антенщиков и для нас, высотников: отсюда мы заводили стропы на верхние грани. Перил на нём не ставили — мешали бы верёвкам. А ещё говорили, что где-то под башней, глубоко в фундаменте, живёт сама «Гармония». Нам, высотникам, туда хода не было: наше дело — снаружи. Я сел на самый край, спиной к шпилю, свесил ноги в пустоту и стал смотреть, как солнце уходит в залив.

Оно уходило медленно, как уходят люди, которым жаль прощаться. Сначала коснулось воды где-то за куполом Кронштадтского собора, потом налилось тяжёлым красным светом, и залив под ним стал медным, а облака над ним — розовыми, лиловыми, золотыми, такого цвета, какого не бывает ни в одной голограмме. Внизу, в городе, одна за другой загорались улицы — сначала Приморский проспект, потом набережные, потом весь Васильевский, будто кто-то зажигал их по очереди, проводя по городу горящей спичкой. Над Невой зажглась подсветка Ростральных колонн. Где-то там, на Дворцовом, в маленькой будке над водой, другой механик заваривал себе чай и готовился ночью поднимать в небо тяжёлые крылья. Ветер трепал капюшон, выбивал из глаз слёзы, и я не вытирал их, потому что здесь, наверху, слёзы от ветра и слёзы не от ветра ничем друг от друга не отличаются, и в этом тоже была своя свобода.

Тридцать пять, подумал я. Половина жизни, если повезёт. Если не повезёт — больше половины. Пятнадцать лет я жду, когда мне скажут, кого любить. Пятнадцать лет вокруг меня все уже знают, а я всё ещё спрашиваю. И, может быть, так и надо. Может, мама права, и я просто не из тех, кого можно посчитать. А может, никакой я не особенный, а просто ошибка, лишняя строчка в чьей-то огромной таблице, которую давно забыли удалить. Я не знал, какой вариант хуже. Если честно, я и не хотел знать. Я хотел сидеть здесь, над городом, который любил сильнее, чем имел право, и смотреть, как он зажигает огни.

В шесть пятнадцать линзы ожили. Сбой закончился, мир вернулся на место, и вместе с ним вернулось всё: время, температура воздуха, вежливое напоминание о том, что я нахожусь в зоне ограниченного доступа и мне рекомендуется её покинуть. Я покинул. Спустился по скобам, задраил люк, переоделся, вызвал лифт. Четыре минуты вниз, уши, лёгкость в животе. Где-то на середине пути в углу линзы снова зажёгся маленький значок, и я почему-то вздрогнул, как вздрагиваешь, когда в пустой квартире звонит телефон.

«Вам необходимо обновить биометрические данные. Запись: МФЦ Приморского района, 16 октября, 14:20, окно 7. Пожалуйста, не опаздывайте».

Я перечитал это дважды и усмехнулся. Ну вот, подумал я. Хоть кто-то меня ждёт. Окно номер семь. Четырнадцать двадцать. Не опаздывать.

Лифт мягко остановился на первом этаже, двери разъехались, и я вышел в мокрый октябрьский вечер.

До дома от башни — час с лишним пешком, по Приморскому, а потом дворами, мимо гаражей и старых тополей, и я всегда шёл пешком, даже в дождь: после целого дня на высоте ногам хотелось земли. Николай Петрович сидел на своей лавочке у парадной, как я и думал утром. В брезентовой куртке, в кепке, с термосом между колен. Над козырьком парадной горела жёлтая лампочка, вокруг неё кружилась морось, и в её свете Николай Петрович был похож на старую фотографию, которую забыли убрать с комода. Линз он не носил — точнее, носил, конечно, все носили, но снимал их, как только выходил на лавку, и убирал футлярчик с ними в нагрудный карман. Говорил, что вечером ему подсказки ни к чему: с котом он и так разговаривать умеет, а больше тут разговаривать не с кем. Кот, огромный, серый, с рваным ухом, сидел рядом с ним на лавке и смотрел на меня с подозрением.

— Именинник, — сказал Николай Петрович. — Садись. Чаю налью.

Я сел. Он налил мне из термоса в крышку — крепкого, сладкого, с чабрецом, такого, какой он заваривал всегда, сколько я себя помню. Себе — в свою кружку, алюминиевую, мятую, ещё армейскую. Мы посидели молча. С Николаем Петровичем всегда можно было посидеть молча, и это было одно из лучших его качеств.

Ему было уже под шестьдесят. Лицо у него стало тяжёлым, морщинистым, а глаза — всё такими же, какими я их запомнил в тот день во дворе, когда мне было шесть: светлыми, спокойными и немного виноватыми, как будто он до сих пор извинялся за то, что из-за него столько шума. Через год после «Гармонии» ему пришла пара — Галина Ивановна из соседнего дома, вдова, из тех редких, кому одобрили заявление на повторную пару, тихая, хозяйственная, — и он, к общему удивлению, согласился. «Я, Максимка, человек простой, — объяснял он мне потом. — Сказали — вот твоя Галя. Я и живу с Галей. Хорошая женщина. Пироги печёт. А что у кого в голове — это не моё дело». Галина Ивановна и правда пекла пироги и всякий раз, встречая меня на лестнице, совала мне что-нибудь в руки. Я не знал, любят ли они друг друга. Мне казалось, что они всего лишь перестали быть одни, и для них обоих этого оказалось достаточно.

— Опять пришло? — спросил Николай Петрович, не глядя на меня.

— Опять.

Он кивнул и долго молчал, глядя на свет лампочки, в котором кружилась морось.

— Николай Петрович, — сказал я вдруг. — А там… как было?

Я никогда его об этом не спрашивал. Ни в детстве, ни потом. Во дворе все знали, что спрашивать не надо, и не спрашивали, и я тоже не спрашивал — почти тридцать лет. А сегодня почему-то спросил. Может, потому, что мне исполнилось тридцать пять и мне казалось, что я наконец достаточно взрослый, чтобы услышать. А может, потому, что в этот вечер мне очень хотелось поговорить с кем-нибудь, кто будет отвечать не по бумажке.

Николай Петрович не удивился. Только отпил из своей кружки и ещё помолчал.

— По-разному, — сказал он наконец. — Закончилось — и слава богу. Вернулись — и слава богу. Кто вернулся. — Он завинтил пробку термоса и снова отвинтил. — Каждый май ко мне Степаныч приезжает, из Донецка. Мы с ним там два года в одном окопе. Приезжает на поезде, сидим вот тут, на этой лавке, до ночи. Галя нам пирогов напечёт. И молчим. Всё, что надо, мы друг другу давно сказали. А что не сказали — так это и не надо.

Кот спрыгнул с лавки и ушёл в темноту, задрав хвост. Николай Петрович проводил его взглядом.

— Я тебе одно скажу, — проговорил он. — Там, Максимка, ты сам проверял каждый узел. Каждую верёвку, каждый шаг. Проверил — живой. Не проверил — уже не проверишь. А тут, — он обвёл рукой двор, мокрые машины, светящиеся окна, далёкие огни Лахты над крышами, — тут всё за тебя проверяют. Куда идти, что есть, кого любить. Оно, может, и правильно. Чтобы никто больше не мучился. Только руки отвыкают. — Он посмотрел на свои ладони — широкие, в трещинах, с узловатыми пальцами. — Руки, они, Максимка, если ими ничего не решать, совсем отвыкают.

Я не знал, что на это сказать. Он, кажется, и не ждал ответа. Покопался во внутреннем кармане куртки и вытащил что-то тяжёлое, завёрнутое в старый носовой платок.

— На вот. С днём рождения.

В платке был фонарик. Старый, армейский, в металлическом корпусе, с потёртой краской и маленькой складной ручкой сбоку.

— Динамо, — сказал Николай Петрович. — Покрутишь — светит. Ни сети ему не надо, ни зарядки, ни этой вашей… гармонии. Он меня там два года выручал. Теперь пусть тебя выручает. Мало ли где свет понадобится.

Я хотел отказаться — это было слишком, это была его вещь, оттуда, — но он так посмотрел на меня, что я не посмел. Я взял фонарик, крутанул ручку, и он зажёгся — тусклым, жёлтым, живым светом, — и в этом свете на секунду стали видны капли мороси, кружащиеся над лавкой, как мошкара.

— Спасибо, — сказал я.

— Иди, — сказал Николай Петрович. — Мать ждёт. Пирог у неё остынет.

Я поднялся к маме. На лестнице пахло капустным пирогом, на третьем этаже, как всегда, мигала лампочка, а за маминой дверью тихо играло радио — она до сих пор слушала радио, старое, проводное, единственное в нашем доме. Я постоял у двери, сжимая в кармане тяжёлый армейский фонарик, и позвонил. Тридцать пять лет. Пятнадцать лет ожидания. Шестнадцать одинаковых писем. И один фонарик, которому не нужна никакая сеть.

Я тогда ещё не знал, что через два дня, ровно в четырнадцать двадцать, у окна номер семь закончится моя прежняя жизнь. И что этот фонарик мне действительно понадобится — там, куда не дотягивается никакой свет, кроме того, который ты добываешь сам, крутя ручку.

Глава 2
Девяносто шесть процентов

Алиса просыпалась за две минуты до будильника. Всегда, каждое утро, сколько себя помнила, — и каждое утро успевала поймать эти две минуты, как ловят на ладонь первую снежинку: осторожно, затаив дыхание, зная, что она сейчас растает. Будильник в их квартире не звенел. Ровно в семь умное стекло в окне начинало медленно, неслышно светлеть, имитируя рассвет, которого в середине октября в Петербурге в семь утра не бывает, и комната наполнялась мягким золотистым светом, рассчитанным так, чтобы пробуждение было «естественным и гармоничным». Но в шесть пятьдесят восемь окно было ещё тёмным, за ним шумел дождь, и в эти две минуты комната принадлежала только ей. Алиса лежала, не открывая глаз, слушала, как капли стучат по жестяному карнизу, как где-то внизу, во дворе-колодце, гулко хлопает дверь парадной, как по Большой Пушкарской с шипением проезжает по лужам первая беспилотная машина, и ни о чём не думала. Это время она любила больше всего за весь день. Она никому о нём не рассказывала. Да и рассказывать, в общем-то, было некому.

Дмитрия рядом не было: он вставал в половине седьмого и бегал вдоль Карповки, в любую погоду, ровно сорок минут, — так было рекомендовано его профилем, и так он делал уже девятый месяц, с того самого дня, как они въехали сюда. Квартиру им дали на год, на время тестового периода, — две комнаты в старом доме на Петроградской, с высокими потолками, лепниной, которая осыпалась по краям, как сахарная пудра, и эркером, в котором Алиса поставила кресло и любила сидеть по вечерам, глядя на крыши. После свадьбы им по «Дому на вырост» полагалось своё жильё — квартира из новых «сот» где-нибудь в Юго-Западном, где селят молодые семьи, с запасом стены под детскую. Пару Алисе назначили поздно по меркам «Гармонии»: с сорок шестого года студенткам дневных отделений давали отсрочку до диплома, и Дмитрий пришёл зимой, через полгода после её защиты, — будто всё это время терпеливо ждал за дверью. Алиса не хотела в Юго-Западный. Она хотела остаться здесь, в этом эркере, с видом на мокрые крыши и на маленький купол Князь-Владимирского собора вдалеке. Но об этом её пока никто не спрашивал.

В семь окно засветилось, и Алиса, не вставая, надела линзы. В семь ноль две в спальню бесшумно вплыл бытовой дрон — плоский, белый, похожий на летающую тарелку с подносом, — и опустился на тумбочку рядом с ней. Капучино с корицей. Каждое утро — капучино с корицей, потому что однажды, ещё в самом начале, на втором или третьем свидании, она сказала, что любит корицу, и система это запомнила. С тех пор прошло девять месяцев, и где-то в середине лета Алиса поняла, что корицу она больше не любит. Не то чтобы разлюбила — просто устала, как устают от песни, которую слишком часто крутят по радио. Но кофе приходил с корицей каждое утро, и каждое утро она его выпивала, потому что сказать об этом было бы глупо и мелочно, а главное — пришлось бы объяснять, почему она не сказала раньше. Дрона, между прочим, спроектировал Дмитрий. Он работал инженером в Северо-Восточном биоме, в лаборатории бытовой робототехники, и очень гордился тем, что эта белая тарелка с подносом стоит теперь в тысячах квартир по всей стране. Алиса тоже им гордилась. Правда гордилась. В этом чувстве она, по крайней мере, была уверена.

Щёлкнула входная дверь, в прихожей зашуршала куртка, и через минуту в спальню вошёл Дмитрий — раскрасневшийся после бега, с мокрыми от дождя волосами, высокий, светловолосый, с открытым и правильным лицом, какие рисуют на плакатах про здоровый образ жизни. Он сел на край кровати и посмотрел на неё. И тут Алиса заметила то, что замечала теперь каждое утро, хотя предпочла бы не замечать: перед тем как он заговорил, его зрачки чуть

заметно, на долю секунды, пробежали слева направо — так быстро, что посторонний не увидел бы ничего. Но она видела. Она слишком долго смотрела на это лицо, чтобы не видеть.

— Доброе утро, — сказал Дмитрий. — Ты сегодня очень красивая. Как спалось?

Он не смотрел на неё. Он её читал.

И самое страшное было не в этом. Самое страшное было в том, что в её собственных линзах в ту же секунду всплыла аккуратная светлая строчка — «Ответ: „Хорошо. Как пробежка?“» — и она, не успев даже подумать, произнесла её вслух, слово в слово, тем же тёплым утренним голосом, каким произносила такие строчки каждое утро. Дмитрий улыбнулся — правильной, хорошей улыбкой — и рассказал про пробежку. Про то, что у Карповки дождь сильнее, чем у дома, и что какая-то утка до сих пор не улетела на юг, а сидит на воде, нахохлившись, как пенсионерка в очереди. Это было смешно, и Алиса засмеялась, и не знала, сам он это придумал или ему подсказали. В этом и была вся беда: она больше никогда этого не знала.

Утренняя сводка в линзах развернулась сама, как разворачивалась каждый день, едва она окончательно открыла глаза. Температура за окном — плюс шесть. Осадки — дождь до обеда. Рекомендуемая одежда — плащ, шарф, непромокаемая обувь. Индекс гармонии пары — девяносто шесть процентов, стабильно. До свадьбы — восемьдесят семь дней. Регистрация — десятого января, Дворец бракосочетания номер один, Английская набережная, двенадцать тридцать. Девяносто шесть процентов, повторила про себя Алиса, как повторяют оценку за экзамен. И это было очень хорошо. Это было почти идеально. У её подруги Вики с её Гошей было восемьдесят девять, и Вика каждую неделю ходила на консультации в Центр семейной гармонии, а потом жаловалась, что ей там всё время предлагают «поработать над собой». Алисе работать над собой не предлагали. Ей вообще ничего не предлагали — у неё всё было хорошо. Это все говорили: и мама, и Вика, и девочки в мастерской, и сама система. «У вас всё хорошо», — говорила система каждый раз, когда Алиса заходила в раздел «Моя пара» и долго смотрела на зелёные графики, пытаясь понять, почему ей так плохо.

Она не могла объяснить, что с ней не так. Она пробовала. Однажды, в августе, в бессонную ночь, она открыла раздел вопросов и ответов «Гармонии» и прочитала его целиком, от начала до конца, как читают инструкцию к сломанному прибору. Там было всё: и «Нормально ли испытывать тревогу перед свадьбой» (нормально), и «Что делать, если кажется, что чувства угасли» (это временно, продолжайте следовать рекомендациям), и «Почему мне иногда хочется побыть одной» (это естественная потребность, система учитывает её в вашем графике). Не было только одного вопроса — того, который она на самом деле хотела задать. Как спросить, почему тебе пусто, когда у тебя есть всё? Как спросить, почему от человека, который всё делает правильно, тебе хочется закрыть глаза и не открывать их, пока он не уйдёт на работу? Такого вопроса в разделе не было. Должно быть, потому, что его никто никогда не задавал. Или задавали, но система решила, что ответ на него никому не нужен.

Дмитрий был хорошим человеком. Она это знала точно, не по процентам, а по-настоящему. Он никогда не повышал голос, не хлопал дверьми, не забывал о её дне рождения и об именинах её мамы. Он мыл за собой чашку, сам, без подсказок, — это она проверяла. Он помнил, что она боится грозы, и в грозу садился рядом и брал её за руку. Он не пил, не курил, не играл в игры по ночам, не смотрел на других женщин — да и зачем ему было смотреть, если над всеми другими женщинами в его линзах светилась лишь бледная серая дымка, а над ней одной — тёплое ровное золото. Он был идеальным. Именно так про него и говорили: идеальный. И Алиса иногда ловила себя на мысли, которая пугала её саму: что идеальный — это, может быть, и есть самое страшное слово, какое только можно сказать о живом человеке.

Завтракали они на кухне, за маленьким круглым столом у окна. Дмитрий сделал бутерброды — аккуратные, ровные, с сыром, нарезанным одинаковыми квадратиками, — и положил ей на тарелку два, а себе три, потому что так было рассчитано по калориям. Тарелки были белые, тонкие, с синим ободком, из сервиза, который им подарила его мама на въезд в квар-

тиру. Алиса взяла свою тарелку в руки, чтобы поставить поближе, — и вдруг увидела, совершенно ясно, как в замедленной съёмке, как она поднимает эту тарелку над головой и со всей силы швыряет её прямо в его идеально спокойное лицо, и бутерброды летят в разные стороны, и квадратики сыра падают на пол, и тарелка разлетается на тысячу белых осколков с синими краешками. Она увидела это так отчётливо, что у неё задрожали руки. Она поставила тарелку на стол. Очень осторожно. Как ставят что-то хрупкое, что может разбиться от одного неловкого движения, — и непонятно было, что именно она боялась разбить: тарелку или что-то в себе.

— Ты в порядке? — спросил Дмитрий, и его зрачки снова пробежали слева направо.

— Да, — сказала Алиса, и на этот раз не стала ждать, что всплывёт в линзах. — Просто не выспалась.

Это была первая неправда за утро, которую она сказала своими словами. Алиса не знала, хорошо это или плохо.

На работу она всегда ходила пешком. Это тоже было её маленькое тайное время, вроде тех двух минут перед будильником, только длиннее — минут сорок, если не торопиться. Система каждое утро предлагала ей беспилотное такси, рассчитывала, что так она сэкономит полчаса и сохранит обувь сухой, но каждое утро Алиса нажимала «Нет, спасибо», и в ответ ей вежливо предлагали хотя бы зонт. Зонт она брала. Она спускалась по лестнице — старой, гулкой, с чугунными перилами, — мимо витража на площадке второго этажа, на котором стеклянный павлин распускал свой синий хвост. Витраж этот был ровесником дома, ему было полтора века с лишним, и его долго, кропотливо восстанавливали в тридцатых годах, по кусочку, по стёклышку. Алиса иногда останавливалась перед ним и думала, что вот это, наверное, и есть настоящая жизнь — когда кто-то полтора века назад сделал красивую вещь просто потому, что захотел, а потом другие люди собирали её по осколкам просто потому, что не могли позволить ей пропасть. Павлина ей было жаль. Он всю жизнь распускал хвост перед пустой лестницей.

На улице пахло мокрыми листьями и рекой. По Большой Пушкарской бесшумно катились беспилотные такси, у парадных на зарядных площадках дремали жёлтые роботы-курьеры, а фонари гасли не все разом, по часам, а каждый сам по себе — когда решал, что света с неба ему хватит. Петроградская сторона в октябре особенно хороша: тяжёлые доходные дома в модерне, со своими эркерами, башенками, совами и лилиями на фасадах, стоят под дождём, потемневшие, торжественные и немного печальные, как пожилые актрисы, которые помнят, что когда-то были первыми красавицами. Алиса вышла на Каменноостровский, повернула к Неве и пошла по Троицкому мосту. Здесь всегда дул ветер — даже когда во всём остальном городе было тихо, на Троицком дул ветер, — и Нева под мостом была серой, свинцовой, вся в мелкой ряби, и по ней, урча, шёл к Ладоге буксир. Справа, у самой воды, лежала Петропавловка — низкая, тёмная, с золотой иглой, которая даже в такую погоду, даже без солнца, умудрялась светиться. А за ней, далеко-далеко, у самого горизонта, в дымке над заливом, стояли три Лахты, и вторая, самая высокая, уходила верхушкой прямо в облака. Алиса не знала, что как раз в это время на её южной грани, на высоте шестисот метров, висит на стропах человек и моет стекло. Она вообще никогда не думала о том, что эти стёкла кто-то моет.

Линзы показывали над прохожими ореолы. Мужчина с собакой — бледно-жёлтый. Курьер на велосипеде — серая дымка. Пожилая пара под одним зонтом — над ними почти ничего, потому что пожилых система давно уже ни с кем не сравнивала. Месяц назад Алиса нашла в настройках ползунок яркости ореолов и тайком, никому не говоря, убрала его почти до нуля. Теперь огоньки над людьми были едва заметны, как свечи днём, и она могла идти по городу и смотреть на лица. Глупо, конечно. Она понимала, что это глупо. Но это было единственное, что она могла приглушить сама.

За мостом начиналось Марсово поле — огромное, пустое, всё в лужах, в которых отражалось низкое небо, — а за ним Летний сад. Там уже готовились к зиме: рабочие в оранжевых жилетах обшивали деревянными ящиками мраморные статуи, одну за другой, бережно, как

укладывают спать детей. Каждую осень, сколько стоял город, статуи Летнего сада уходили в свои деревянные домики и до весны стояли там, в темноте, в тишине, и Алиса каждый раз чувствовала к ним какую-то странную нежность. Им хотя бы разрешали полгода побыть невидимыми. Она прошла вдоль знаменитой решётки, вдоль Лебяжьей канавки, на которой качались жёлтые листья, мимо красного Михайловского замка в глубине, вернулась через Марсово поле и свернула на Миллионную — узкую, мощённую камнем, тихую, как коридор старой квартиры, — и вышла к атлантам.

Десять гранитных гигантов держали на своих плечах портик Нового Эрмитажа, держали уже два века, не жалуясь и не меняя позы. Пальцы на ногах у них были отполированы до блеска — туристы тёрли их на удачу, и камень там, где его касались миллионы рук, стал гладким и тёплым на вид, как кожа. Алиса никогда их не тёрла. Ей казалось, что атлантам и без того тяжело. Она просто каждое утро на секунду останавливалась перед ними, задирала голову и смотрела на их суровые, опущенные лица, и ей казалось, что они смотрят на неё в ответ. Без процентов. Без подсказок. Просто — смотрят.

Мастерская была в служебном крыле, куда вела неприметная дверь с кодовым замком. Внутри пахло лаком, скипидаром, старым деревом и чем-то ещё — тем особенным запахом, который бывает только там, где очень долго хранят очень старые вещи. Музей ещё не открылся, и в пустых залах, мимо которых она шла, медленно включались голографические гиды — полупрозрачные фигуры в костюмах разных эпох, которые через час начнут рассказывать туристам на сорока языках, кто, когда и зачем написал эту картину. Сейчас они стояли у стен неподвижно, с вежливыми улыбками, и ждали. Алиса проходила мимо них каждое утро и каждое утро чувствовала себя немного неловко, как будто проходила мимо людей, с которыми забыла поздороваться.

Её стол стоял у высокого окна, выходящего во внутренний двор. На мольберте, под лампой дневного света, ждала картина, над которой она работала уже третью неделю: небольшое голландское полотно семнадцатого века, тёмное от времени и старого лака. Молодая женщина в жёлтой кофте сидит у окна и читает письмо, а в дверях комнаты, в глубине, полускрытый тенью, стоит мужчина и смотрит на неё. Кто он — муж, брат, гость, тот, кто это письмо написал, — неизвестно. Художник не оставил ни подписи, ни названия, ни объяснений. Он оставил только взгляд. И Алиса за эти три недели поняла про картину одну вещь, которую никак не могла объяснить словами: мужчина смотрел на женщину неправильно. Так не смотрят на жену, с которой прожили десять лет. Так не смотрят на сестру. Так смотрят на того, кого выбрали сами — и не уверены, выберут ли их в ответ.

Она любила такие картины. В хранилищах и залах их было много — старых полотен, на которых люди смотрели друг на друга вот так, неправильно: с тоской, с надеждой, с отчаянием, с такой нежностью, от которой становилось трудно дышать. Иногда Алисе казалось, что из всех строчек в письме совершеннолетия эту — «реставратор» — она выбрала бы и сама, только ради этих взглядов. Чтобы каждый день отчищать их от копоти и пожелтевшего лака и проверять, что они всё ещё там. Что когда-то люди умели так смотреть.

На прошлой неделе она сделала инфракрасный снимок картины — так делают всегда, перед тем как снимать лак, чтобы увидеть, что скрывается под верхним слоем. И увидела. Под мужчиной в дверях был другой мужчина — точнее, тот же самый, но в первом варианте он стоял, отвернувшись к окну, и смотрел в сторону, в пустоту, куда угодно, только не на неё. А потом художник передумал. Взял кисть и повернул ему голову. Заставил его посмотреть. Это называется пентименто — «раскаяние» по-итальянски. Когда художник меняет решение прямо на холсте и старый вариант остаётся под краской, невидимый глазу, но живой. Алиса долго сидела над тем снимком. Ей почему-то казалось, что это очень важно — то, что он передумал. Что самое главное на этой картине не женщина, и не письмо, и даже не взгляд, а вот это — что он сначала смотрел в сторону, а потом всё-таки повернулся.

А сегодня утром, снимая лак с листа бумаги в руках у женщины, она нашла ещё кое-что. Письмо на картине не было пустым. Художник, оказывается, написал на нём слова — крошечные, в несколько миллиметров, тонкой кистью, так, что под старым лаком их невозможно было разглядеть. Алиса час сидела с лупой, расчищая их буква за буквой, и наконец прочитала. Два слова, по-старому, по-голландски: «ick wacht». Она проверила по словарю, хотя и так почти знала. «Я жду». Больше на письме ничего не было — ни имени, ни даты, ни подписи. Только это. Кто ждёт, кого, чего — художник не сказал. Может быть, письмо написал тот мужчина в дверях. Может быть, кто-то другой, кто был далеко. А может быть, его вообще никто не писал, и женщина у окна просто держала в руках лист бумаги со своим собственным ожиданием, как держат в руках что-то, что больше некуда деть. Алиса долго смотрела на эти два слова. Почти четыреста лет назад кто-то ждал — так сильно, что художнику пришлось это записать. И она вдруг подумала: а она сама — ждёт чего-нибудь? И не смогла ответить. Ждать было нечего. До свадьбы оставалось восемьдесят семь дней, и всё, что должно было случиться, было уже известно. Это и пугало больше всего.

Она надела перчатки, взяла скальпель и тампон и склонилась над холстом. Работа реставратора — это медленная, почти неподвижная работа, похожая на молитву: миллиметр за миллиметром, слой за слоем, с бесконечным терпением, когда на участок размером с ноготь уходит целый час. Алиса любила её именно за это. Здесь, над холстом, ей никто ничего не подсказывал: у реставраторов во время работы линзы переводились в рабочий режим, и суфлёр умолкал, потому что никакой суфлёр не скажет тебе, как отличить авторскую лессировку от позднейшей записи. Здесь решала только она сама — её глаза, её руки и её страх ошибиться. И часы над холстом были, если честно, единственными часами, когда Алиса чувствовала себя живой.

В реставрацию её пустили без споров: профессия считалась «совместимой с материнством» — тихая, ручная, терпеливая. Школы разделили, когда Алиса перешла во второй класс, и почти всё её детство прошло в женской гимназии в Купчине: домоводство, эстетика быта, основы материнства и любимый предмет директрисы — основы семейной речи. На этих уроках девочкам раздавали карточки с правильными словами для правильных минут: что сказать мужу, когда он устал, что — когда расстроен, что — когда принёс цветы. Карточки полагалось выучить наизусть. Линз тогда ни у кого из них ещё не было, но говорить по подсказке их научили раньше, чем говорить самим. И только учительница рисования, Лидия Фёдоровна, разглядела в Алисе что-то, чего не было ни на одной карточке. В прогнозе у Алисы с первого класса стояло «воспитатель дошкольных учреждений, 87%»: терпение, ровный голос, любовь к порядку. Лидия Фёдоровна увидела другое — как девочка часами сидит над испорченной акварелью, слой за слоем снимая чужую ошибку, — и пробила ей место в детской студии при Эрмитаже. Через год прогноз молча переписали: «реставратор, 74%». Система не спорила. Она вообще никогда не спорила — она пересчитывала.

В обед прибежала Вика — она работала в отделе фондов, двумя этажами ниже, — и утащила Алису в маленькое кафе для сотрудников во внутреннем дворе, где из окна был виден кусок неба над крышей Зимнего и голуби, которые важно расхаживали по мокрой брусчатке, как экскурсоводы. Вика была её подругой с первого курса — маленькая, рыжая, шумная, с веснушками даже в октябре, — и всё, что происходило в её жизни, происходило громко. Сегодня громко происходил Гоша. Гоша опять забыл купить хлеб, хотя система трижды ему напоминала. Гоша опять смотрел футбол до полуночи, хотя по графику у них был совместный вечер. Гоша опять сказал её маме что-то не то, хотя в линзах у него было написано то. «Представляешь, — возмущалась Вика, размахивая ложкой, — ему подсказывают, а он всё равно говорит своё! Нам в Центре так и сказали: у вас, говорят, низкий коэффициент следования рекомендациям. Восемьдесят девять процентов, Алис! Восемьдесят девять! А могло бы быть девяносто пять, если бы он хоть иногда слушал!» Алиса смотрела, как Вика сердится, как у неё горят щёки и сверкают глаза, и думала, что Вика, кажется, этого своего Гошу ужасно любит — именно

за то, что он не слушает, хотя сама она ни за что бы в этом не призналась. «А у вас как?» — спросила наконец Вика, отдышавшись. «Девяносто шесть», — сказала Алиса. «Везучая, — вздохнула Вика. — Вот у кого всё как надо». Алиса хотела сказать: нет. Хотела сказать: Вика, я тебе завидую, потому что твой Гоша забывает про хлеб и говорит твоей маме глупости, а мой Дмитрий не забывает ничего и никогда не говорит глупостей, и мне от этого так пусто, что хочется выть. Она уже открыла рот. А в линзах — она забыла переключить их обратно с рабочего режима, и они переключились сами — всплыло: «Ответ: „Мне правда повезло“». И она сказала: «Мне правда повезло». Вика кивнула, и они заговорили о другом, и тот, настоящий ответ так и остался у Алисы где-то в горле — как кофе с корицей, который она каждое утро через силу допивала до конца.

Вечером Дмитрий приготовил ужин. Он вообще хорошо готовил — по рецептам, которые система подбирала под их общий профиль, с точностью до грамма, — и сегодня это была рыба с овощами и каким-то лёгким соусом. Всё было очень вкусно, Алиса ела с удовольствием, и в линзах у неё всплывали правильные слова похвалы, и она их произносила. Дмитрий рассказывал про работу: новая модель дрона научилась отличать, когда хозяева хотят тишины, и в такие минуты не жужжит, а замирает в углу. «Представляешь, — сказал он, — он сам будет понимать, когда людям нужно побыть одним». И Алиса подумала, что скоро дрон будет понимать её лучше, чем она сама. И ещё подумала, что надо бы что-нибудь ответить, и в линзах тут же всплыло: «Это потрясающе. Ты гений». И она сказала: «Это потрясающе. Ты гений». Дмитрий покраснел от удовольствия, как мальчишка, и она почувствовала, что любит его в эту секунду — по-настоящему, только не так, как надо. Так любят хорошего брата. Так любят старую, верную, понятную вещь, без которой жизнь была бы неудобной. А так, как смотрел мужчина в дверях на голландской картине, — так она не любила его никогда.

Потом она мыла посуду — руками, хотя у них была посудомоечная машина: ей нравилось держать руки в тёплой воде и ни о чём не думать. Белые тарелки с синим ободком. Одну за другой. Она мыла их очень осторожно и ставила в сушилку ровным рядом, и ни одна не разбилась.

Потом позвонила мама. Она звонила по воскресеньям, всегда в девять вечера, из своей маленькой квартиры в Купчине, где после ухода папы много лет жила одна, а теперь жила с Виктором Палычем — тихим, аккуратным человеком, которого ей назначили в первую же волну, когда Алисе было восемь. Мама носила линзы, но суфлёр отключила — говорила, что ей, старой женщине, уже некого очаровывать, а разговаривать с дочерью она умеет и сама. Она спросила про работу, про Дмитрия, про платье. Алиса отвечала. Потом, сама не зная почему, сказала: «Мам, а ты когда-нибудь… Ну, чувствовала, что всё правильно, а внутри пусто?» Мама помолчала. «Это нервы, — сказала она наконец. — Перед свадьбой у всех нервы. Я перед своей вообще три дня ревела». — «Но ты же сама выбирала». — «Сама, — сказала мама, и голос у неё стал жёстким. — Сама. И посмотри, что вышло. Ты не знаешь, Алиска, каково это — когда выбираешь сам, а потом остаёшься одна с ребёнком на руках и не можешь даже никого обвинить, кроме себя. А у тебя девяносто шесть процентов. Девяносто шесть! Ты у меня самая везучая. Если нервы — сходи в Центр, там помогут». Алиса сказала, что сходит. Мама сказала, что любит её, и это было правдой, и Алиса это знала. Положив трубку, она ещё долго сидела в эркере, в темноте, смотрела на мокрые крыши, и думала о том, что мама, скорее всего, права. Мама всегда была права. Просто от её правоты почему-то становилось ещё холоднее.

Перед сном в линзах всплыло напоминание на завтра: «Предсвадебная биометрия. МФЦ Приморского района, 16 октября, 14:20, окно 7. Пожалуйста, не опаздывайте». Алиса перечитала его и нахмурилась. Почему Приморского? Жили они на Петроградской, в двух шагах от своего МФЦ, а работала она в центре. До Приморского нужно было ехать через полгорода. Дмитрию такое же напоминание пришло на другой день и в их петроградский МФЦ. Обычно пары записывали вместе, и это удивило её не меньше, чем Приморский район. Она хотела

было написать в поддержку и попросить перенести запись, но потом подумала, что система, в конце концов, знает, что делает. Может, там очередь меньше. Может, там лучше оборудование. Может, ещё что-нибудь, чего ей знать не нужно. Система всегда знала, что делает.

Она вынула линзы, положила их в футляр и легла. Это было третье её тайное время — ночь, когда линзы лежат на тумбочке в маленьком футляре, и в темноте над Дмитрием не светится ничего, он становится просто человеком, который спит рядом. Он уже спал. Дышал ровно, спокойно, правильно — даже во сне. Алиса лежала на спине, смотрела в потолок, по которому ползли тени от уличного фонаря, слушала его дыхание, и дождь за окном, слушала далёкий гул города, и думала о мужчине в дверях, который сначала смотрел в сторону, а потом повернулся. Ей очень хотелось знать, что заставило его повернуться. И ещё больше — что было бы, если бы художник не передумал.

Она заснула только под утро. И впервые в жизни проснулась не за две минуты до будильника, а от него.

Глава 3
Окно номер семь

Есть в нашей стране места, над которыми не властно время. Можно запустить вакуумный поезд, поставить над заливом башню в семьсот метров, научить кофеварку понимать, какой кофе предпочитают хозяева, — но МФЦ останется МФЦ. Я в этом убедился ещё в двадцать лет, когда пришёл туда впервые обновлять какую-то справку, и с тех пор каждый раз, переступая порог, испытывал одно и то же странное, почти нежное чувство: будто вернулся в детство, в поликлинику, куда мама водила меня на прививки. Здание поменялось — теперь это был стеклянный куб на Комендантском, с голографическими номерками, плавающими над головами, и мягкими креслами вместо пластиковых стульев. Поменялась техника — теперь здесь не писали заявления от руки, а смотрели в камеры, прикладывали ладони к сканерам и говорили в микрофоны специальные фразы, по которым система сверяла голос. Но запах был прежний: моющее средство, мокрые куртки, кофе из автомата и тихое, коллективное, всепрощающее терпение. И очередь была прежней. Очередь — это вообще то, что у нас в стране не отменит никакая «Гармония». Можно отменить одиночество, разводы и неразделённую любовь. Очередь — нельзя.

Я отпросился с работы после обеда. Витёк, узнав, куда я еду, сочувственно покачал головой: «В МФЦ? В понедельник? Ну, ты смелый». Я переоделся в чистое, спустился на служебном лифте, прошёл мимо дронов у подножия башни и нырнул в метро. Петербургское метро пахнет одинаково всю мою жизнь — тёплой резиной, железом и чем-то ещё, неуловимым, подземным, чего нет больше нигде на свете, — и всю мою жизнь, спускаясь в него, я чувствую себя немного рыбой, которую отпустили обратно в воду. Турникетов в нём давно не было — платили лицом, проходя мимо специальных арок, — но станции, построенные при прадедах, стояли такие же торжественные, с люстрами, с мозаикой, и пахли так же. Над эскалатором плыли голографические указатели, внизу, на платформе, мягкий голос объявлял поезда, а в вагоне все, как обычно, сидели, глядя в пустоту перед собой, и каждый видел в этой пустоте что-то своё — новости, письма, сериалы, подсказки. Я смотрел в тёмное окно, на своё отражение, мелькающее поверх тоннельных кабелей, и думал о том, что сейчас мне в очередной раз скажут подождать.

Над дверью вагона светилась схема — огромная, разноцветная, похожая на кровеносную систему какого-то большого терпеливого зверя. Когда я родился, в петербургском метро было пять линий и семьдесят две станции, и новых не открывали уже два года. Я знаю это точно, потому что папа любил цифры, которые можно потрогать. Сколько тонн весит крыло Дворцового моста и за сколько минут оно встаёт к небу. Сколько мостов разводят за ночь и в каком порядке. Какая глубина у Невы под Дворцовым. А потом — что лежит ещё глубже. Под Невой, говорил он, есть второй город, перевёрнутый, и мосты у него свои — тоннели. Он знал, на какой глубине идёт поезд под рекой от «Невского проспекта» к «Горьковской», сколько тоннелей проложено под Невой и сколько станций в этом подземном городе. Мосты и метро были для него одним хозяйством: одно держит город над водой, другое — под ней.

Следующую станцию открыли, когда мне было три, — «Горный институт» на Васильевском, — и в первый же день на ней встали эскалаторы, о чём папа потом лет двадцать рассказывал с нежностью, как рассказывают о первом шаге ребёнка. Через год появилась коричневая ветка — всего две станции, «Путиловская» и «Юго-Западная», короткая, как обрубок, и взрослые шутили, что достраивать её будут внуки.

Шутили не зря. Шла война, и стройка снова встала — не вся и не сразу, а так, как встаёт машина, у которой кончается бензин. Санкции не душили всё подряд: они били по тому, что

не сделаешь своими руками, — проходческие щиты, особые подшипники, электроника для них. Запчасти покупали годами, кружным путём — через третьи страны, через посредников, за криптовалюту, — и пока деталь шла в обход полмира, щит стоял в тоннеле и ждал. Обрубок коричневой ветки так и торчал на схеме, двумя станциями, и я успел пойти в школу, а он всё не рос.

А потом война кончилась, санкции начали снимать — одну за другой, медленно, — и в город понемногу вернулось всё: деньги, люди, уехавшие в двадцатых, и те, кто никогда здесь не жил, но хотел. Вернулись щиты, а за ними пришёл машинный разум, который просчитывал тоннели под петербургским болотом точнее любого маркшейдера. Станции стали открывать не по одной в пять лет, а по пять-шесть в год, и схему в вагонах перестали печатать: она светилась, и каждую зиму на ней прорастали новые кружки. Кольцевую замкнули в сорок пятом, и к пятидесятым линий стало девять, а станций — почти двести. Папа застал почти все. На каждую новую станцию он ездил в первую же неделю — посмотреть, «как сделали», — и иногда брал меня с собой.

Сами поезда на новых линиях водил не человек, а разум состава. Он знал, сколько людей ждёт на каждой платформе, и сам решал, как часто ходить: в час пик составы шли друг за другом через полторы минуты, ближе к ночи реже, а над дверями загоралось, в каком вагоне свободнее. Говорили, что старые машинисты, которых перевели в диспетчеры, первое время ездили в кабинах пассажирами — просто посидеть на привычном месте. Я их понимал.

Ехать мне было всего несколько станций. Я смотрел на схему над дверью, на все эти разноцветные нитки и кружки, и думал, что папа знал бы про каждую станцию всё: когда открыли, на какой глубине, кто строил. А я знал этот город только сверху, с шестисот метров, — как знают карту, а не дорогу.

Я доехал до «Комендантского» и в 14:07 стоял у терминала с номерками. Терминал вежливо поздоровался со мной по имени, поздравил с прошедшим днём рождения — двумя днями позже, но зато от души — и выдал талон: «С-047. Окно 7. Ожидаемое время: 14:20». Талон, кстати, был бумажный. Не знаю, зачем в мире, где всё давно живёт в линзах, МФЦ до сих пор печатал бумажные талоны, но печатал. Подозреваю, это было что-то вроде традиции: людям спокойнее, когда в руке есть хоть какая-то бумажка, которую можно мять, пока ждёшь своей очереди.

Я сел в кресло у стены и стал смотреть по сторонам. Это было моё любимое развлечение в очередях — смотреть на людей. Напротив меня сидела пожилая женщина в вязаном берете, с картонной папкой на коленях, туго перевязанной тесёмками; в папке, я был уверен, лежали документы, которые никому уже лет двадцать как не были нужны, но она всё равно носила их с собой, на всякий случай, как носят с собой талисман. Рядом с ней мальчишка лет десяти играл во что-то в линзах, дёргая пальцами в воздухе. Чуть дальше, у окна, сидели две пары — молодые, совсем свежие, судя по тому, как они держались за руки, — и пришли они, видимо, за тем же, за чем приходят все пары за несколько месяцев до свадьбы: за предсвадебной биометрией. Над ними в моих линзах, как обычно, ничего не светилось. Но я и без всяких ореолов видел, как одна из девушек смотрит на своего парня, как он ей что-то говорит, а у неё перед ответом чуть-чуть, едва заметно, бегут слева направо зрачки. Я раньше этого не замечал. То есть видел, конечно, но значения не придавал. А в тот день почему-то заметил — может быть, потому, что после позавчерашнего Витька с его дурацкой песней стал смотреть внимательнее.

Номер на табло сменился, и женщину в берете вызвали к окну номер три. Я видел, как она подошла, развязала свои тесёмки и положила на стойку пожелтевший лист бумаги, а сверху — старую фотографию, бумажную, с загнутым уголком. «Мне сказали, мужа больше нет в базе, — громко, на весь зал, сказала она специалисту за стеклом. — А он есть. Вот он. Вот же он, смотрите». Специалист что-то тихо объяснял ей, показывая на экран, а она упрямо тыкала пальцем в фотографию и повторяла: «Вот же он». Люди в очереди деликатно делали вид, что не

слышат. Я не делал. Я смотрел на эту фотографию — мне её было не разглядеть, только светлое пятно лица и тёмный пиджак — и думал, что вот так, должно быть, и выглядит последнее, что остаётся от человека, когда его стирают отовсюду: бумажка, которую кто-то упрямо носит в картонной папке. Система не умеет читать фотографии с загнутым уголком. Для неё их не существует. А для этой женщины, кроме них, не существовало больше ничего.

И тут я увидел её.

Она сидела через два кресла от меня, у колонны, и я не заметил, когда она пришла, — видимо, пока разглядывал женщину с папкой. Серый плащ, промокший на плечах, тёмно-синий шарф, мокрый зонт, прислонённый к колену. Тёмные волосы, собранные кое-как, наспех, и одна прядь выбилась и прилипла к щеке. Над губой — маленькая родинка. Она сидела очень прямо, как сидят люди, которые не привыкли ждать, и смотрела куда-то перед собой. У неё было лицо человека, который думает о чём-то своём, далёком и не очень весёлом. Я не могу сказать, что она была красивой. То есть она была красивой, конечно, но я не об этом. Я в своей жизни видел много красивых лиц — через стекло, с высоты, в метро, на улице, — и ни одно меня так не остановило. А это остановило. Я потом долго пытался понять почему и так до конца и не понял. Может быть, потому, что это было первое за много лет лицо, на котором я ясно видел: человеку плохо, и он ни у кого не спрашивает, как с этим быть.

Потом я заметил её руки. Узкие, с коротко остриженными ногтями, и на указательном пальце правой руки — маленькое пятнышко краски, рыжевато-коричневое, как осенний лист. Она, видимо, не успела его отмыть или не заметила. И вот это пятнышко почему-то тронуло меня больше всего остального. Человек, который приходит в МФЦ с краской на пальце, — это человек, которого что-то оторвало от дела, которое ему по-настоящему дорого. Я так подумал. Я ещё не знал, насколько угадал. И не знал, зачем она сюда пришла.

Она почувствовала мой взгляд и повернула голову. Посмотрела на меня — и я увидел, как у неё на лице появляется то самое выражение, которое я видел на лицах незнакомых людей уже пятнадцать лет: лёгкое недоумение, как будто она смотрит туда, где явно должно быть что-то написано, а там пусто. Над каждым человеком в её линзах что-то светилось. Надо мной — нет. Обычно люди в этот момент быстро отводили глаза, смущаясь, как смущаются, когда случайно видят чужой шрам. Она не отвела. Она смотрела, слегка нахмурившись, и вид у неё был такой, будто она пытается прочитать что-то очень мелким шрифтом.

И тут я сказал. Я до сих пор не знаю зачем. Никогда в жизни я не заговаривал с незнакомыми девушками в очередях — у меня для этого не было ни таланта, ни повода, ни, если уж честно, смелости. Но слова вылетели сами, раньше, чем я успел их остановить, и прозвучали ровно так глупо, как звучат все слова, которые никто заранее не проверил.

— Не пугайтесь, — сказал я. — Это не заразно.

Она моргнула.

— Что, простите?

— Ну, что над головой пусто. — Я неопределённо помахал рукой где-то над своей макушкой. — У меня так с двадцати лет. Врачи говорят, жить буду.

Секунду она смотрела на меня совершенно ошарашенно. А потом засмеялась. Не вежливо, не прикрывая рот ладонью, а по-настоящему — коротко, неожиданно для самой себя, так, что женщина с папкой обернулась на нас с осуждением. И сразу, будто испугавшись этого смеха, замолчала и посмотрела на меня уже совсем по-другому: внимательно, настороженно и с каким-то непонятным мне удивлением. Позже она рассказала мне, что именно её так удивило. В её линзах в этот момент не всплыло ничего. Ни подсказки, ни строчки, ни правильного ответа — только серая надпись в углу: «Недостаточно данных для рекомендации». Впервые за девять месяцев ей не подсказали, что сказать. И она засмеялась сама. Но тогда я этого не знал. Я просто видел, что она смеётся, и думал, что сейчас умру от неловкости, и одновременно — что, кажется, ради этого смеха стоило прожить тридцать пять лет.

— Извините, — сказала она, всё ещё улыбаясь краешком губ. — Я просто… Я никогда такого не видела. Чтобы совсем пусто.

— Говорят, обрабатывают, — сказал я. — Пятнадцать лет обрабатывают. Наверное, я очень сложный.

Она чуть наклонила голову и посмотрела на меня так, как, должно быть, смотрела на свои картины, — хотя про картины я тогда ещё ничего не знал.

— Или очень простой, — сказала она. — Простых труднее всего понять.

Я не нашёлся что ответить. Это было так неожиданно и так точно, что у меня перехватило горло. Никто никогда не говорил мне ничего подобного. Мне говорили, что я сложный, что я особенный, что надо просто подождать, что всё будет хорошо. Мне ни разу не сказали, что я, может быть, наоборот — простой. И что это, может быть, не так уж плохо.

— У вас на пальце охра, — сказал я, чтобы хоть что-то сказать.

Она посмотрела на свою руку, на рыжее пятнышко, и чуть покраснела.

— Это сиена, — сказала она. — Жжёная.

— Простите. Я в красках не разбираюсь. Я в окнах разбираюсь.

— В окнах?

— Мою их. На Лахте. — Я кивнул в сторону, где за стеклянной стеной МФЦ, за мокрыми крышами Комендантского, в дымке над заливом стояла Вторая Лахта, едва различимая сквозь дождь. — На шестистах метрах.

Она проследила за моим взглядом, потом снова посмотрела на меня — с недоверием, как смотрят на человека, который сказал, что работает дрессировщиком драконов.

— И не страшно?

— Наверху — нет, — сказал я честно. — Страшно внизу.

Она ничего на это не ответила. Только посмотрела на меня ещё раз, долго, на секунду дольше, чем смотрят на незнакомого человека в очереди, — и в этой секунде было что-то такое, отчего у меня в груди медленно, тяжело, как мост на рассвете, начало опускаться что-то, что я много лет держал поднятым.

Над окнами мелодично звякнуло, и голографическое табло под потолком сменило номер. «Окно 7: С-047».

Я посмотрел на свой талон. С-047. Она посмотрела на свой — и я увидел, как у неё дрогнули брови. Мы оба встали одновременно, оба сделали шаг к окну номер семь, оба остановились и посмотрели друг на друга. Потом одновременно протянули друг другу талоны. На обоих было напечатано одно и то же: «С-047. Окно 7. Ожидаемое время: 14:20».

— Так, — сказала женщина в окне номер семь, глядя на нас поверх очков. Очки у неё были самые настоящие, в роговой оправе, линз она не носила, и на бейджике значилось: «Римма Петровна, ведущий специалист». — Опять двоих на одно время записали. Третий раз за неделю. Садитесь оба, сейчас разберёмся. По очереди.

Мы сели. У окна было два стула — видимо, как раз для пар, которые приходят вместе, — и мы оказались рядом, плечом к плечу, на расстоянии ладони, как самая настоящая пара, которой не хватает только процентов над головами. Мне стало смешно, и я украдкой посмотрел на неё, и увидел, что ей тоже смешно, и она изо всех сил старается не улыбаться, глядя прямо перед собой на Римму Петровну.

Римма Петровна между тем нисколько не смущалась. Она работала в этом окне, судя по всему, со времён, когда очереди были бумажными, и видела всё. Двоих на одно время — подумаешь. Она взяла талон у моей соседки, приложила его к сканеру, посмотрела на экран и кивнула.

— Предсвадебная биометрия, — сказала она. — Поздравляю. Ладонь сюда. В камеру смотрим, не моргаем. Голосовая проверка: скажите, пожалуйста, «Я подтверждаю своё согласие».

— Я подтверждаю своё согласие, — сказала девушка рядом со мной. Голос у неё был негромкий, чуть хрипловатый от холода, и на слове «согласие» она едва заметно запнулась. Я заметил. Римма Петровна, кажется, тоже, потому что посмотрела на неё поверх очков на долю секунды дольше, чем нужно. Но ничего не сказала. Нажала что-то на экране, и сканер пискнул.

— Хорошо, — сказала Римма Петровна. — Биометрия обновлена. Изменения в пределах нормы. Свадьба у вас когда? Десятого января? Ну, совет да любовь. Следующий.

Следующим был я. Я приложил ладонь к тёплому стеклу сканера, посмотрел в камеру и не моргнул.

— Агафонов Максим Андреевич, — прочитала Римма Петровна, глядя в экран. — Обновление биометрии. Так. Ваши данные устарели на ноль целых три десятых процента.

— Это как? — не удержался я.

— Постарели вы, — сказала Римма Петровна безо всякого сочувствия. — На ноль целых три десятых. Голосовая проверка: скажите «Я подтверждаю актуальность своих данных».

— Я подтверждаю актуальность своих данных.

— Хорошо. Обновлено. — Она прищурилась, вглядываясь в экран, и вдруг чуть изменилась в лице — едва уловимо, как меняются лица людей, которые много лет делают одну и ту же работу и вдруг видят на экране что-то, чего видеть не привыкли. — Статус: «Ожидание». Без изменений. — Она помолчала и добавила, уже другим, человеческим голосом, совсем тихо, так, чтобы слышал только я: — Вы уж там держитесь, молодой человек.

Мне вдруг захотелось обнять эту строгую женщину в роговых очках. Я этого, конечно, не сделал. Я сказал «спасибо», забрал свой талон, и мы с моей соседкой одновременно поднялись со стульев.

Мы вышли в зал вместе. Это получилось само собой — оба встали, оба пошли к выходу, и шли рядом, молча, через весь зал, мимо женщины с папкой, мимо мальчишки, который всё ещё дёргал пальцами в воздухе, мимо пар у окна, — и я чувствовал, что должен что-то сказать, но не знал что, и чувствовал, что она тоже не знает, и это молчание было таким неловким и таким живым, каким, наверное, бывает только молчание двух людей, которым никто не подсказывает слов. У самых дверей она остановилась. Повернулась ко мне. Над нами из динамиков мягкий женский голос объявил следующий номер.

— Спасибо, — сказала она.

— За что? — спросил я. Я правда не понимал.

Она подумала. Я видел, как она думает, — по-настоящему, без всяких бегущих зрачков, просто смотрит на меня и ищет слова, и не находит, и всё равно ищет.

— Не знаю, — сказала она наконец. — Наверное, за то, что вы — не по бумажке.

И, не дожидаясь ответа, толкнула стеклянную дверь и вышла на улицу, под дождь, раскрывая на ходу свой мокрый зонт.

Я стоял у двери и смотрел ей вслед. Серый плащ, тёмно-синий шарф, зонт — она шла к метро так быстро, не оглядываясь, что через минуту я потерял её в толпе. И только тогда сообразил, что даже не спросил, как её зовут. Пятнадцать лет мне некого было спросить, как зовут, — и вот, когда наконец появился кто-то, я стоял как идиот и не спросил. Я едва не бросился за ней следом. Но не бросился. Что бы я ей сказал? «Простите, у вас свадьба десятого января, я слышал, но, может, вы скажете мне своё имя?» Глупо было бы. И главное — это было бы нечестно. У неё была пара. Наверняка девяносто с чем-то процентов, свадьба десятого января, белое платье. А у меня было пусто над головой и ноль целых три десятых процента старости.

Но кое-что я всё-таки успел заметить. Когда она толкала дверь, плащ у неё распахнулся, и на внутренней стороне, на лацкане, я увидел пропуск — маленький пластиковый прямоугольник на зажиме. Синий, с золотым гербом и надписью, которую невозможно было не

узнать, даже издалека, даже сквозь мокрое стекло: «Государственный Эрмитаж. Реставрационная мастерская».

Сиена, подумал я. Жжёная.

«Не по бумажке». Я стоял у стеклянной двери и крутил эти слова в голове, как крутят в пальцах найденную на улице монету, пытаясь понять, какой она страны. «Не по бумажке». Так говорили ещё в мамином детстве — про тех, кто выступает без шпаргалки, своими словами, сбиваясь и подбирая выражения. Теперь «бумажкой» была строчка в линзах, и по бумажке говорили все: на работе, дома, в постели, на похоронах. А я, получается, пятнадцать лет говорил не по бумажке и даже не замечал этого. Мне казалось, что я просто молчу больше других. А это, оказывается, было заметно. Заметно настолько, что за это можно было сказать «спасибо».

Я вышел на улицу. Дождь почти закончился, и над Комендантским висела мокрая серая пелена, сквозь которую едва проступали огни. Пахло заливом и бензином старых машин — такие ещё ездили по окраинам, без автопилота, на радость немногим упрямцам. Я поднял воротник, сунул руки в карманы и пошёл куда глаза глядят — по Комендантскому, по мокрым дворам, мимо стеклянных кубов и старых гаражей — и бродил так часа три, а в голове у меня крутилась одна и та же фраза, снова и снова, как пластинка, на которой заела игла: «Простых труднее всего понять». Никто никогда не говорил мне ничего подобного. Мне вообще, если подумать, очень давно никто не говорил ничего, чего бы ему не подсказали.

В метро я спустился уже в темноте. В вагоне напротив меня сидели двое — совсем молодые, лет по восемнадцать-двадцать, — и я не сразу понял, что они видят друг друга впервые. Он был долговязый, в куртке не по размеру, с торчащими из-под шапки ушами. Она — маленькая, круглолицая, с косичкой и с букетом белых хризантем, которые, судя по обёртке, ей подарили в университете или на работе в честь дня рождения. Уведомление пришло ей, скорее всего, в два часа, и уже к шести они нашли друг друга в метро — система, конечно, подсказала, в каком вагоне и на какой станции. Они сидели рядом, не касаясь друг друга, и по очереди говорили. Он: «Привет. Я очень рад, что это ты». У него перед этим пробежали зрачки. Она: «Я тоже очень рада. Ты именно такой, как на фотографии». У неё перед этим пробежали зрачки. Он: «Можно, я провожу тебя до дома?» Она: «Конечно. Мне будет приятно». И так — фраза за фразой, ровно, мило, вежливо, как два человека, которые читают по ролям пьесу, написанную кем-то третьим. Я смотрел на них и не мог отвести глаз. Мне было за них радостно, тревожно и стыдно одновременно, будто я подглядывал. А потом заметил одну вещь, от которой у меня сжалось сердце. У парня дрожала рука. Он держал руку на колене, рядом с её рукой, и пальцы у него мелко, неудержимо дрожали — так, что он прижимал их к колену, чтобы она не заметила. Этого в его линзах не было. Это было его. Единственное, что в этом разговоре было по-настоящему его. Девушка, кажется, не заметила. Она смотрела перед собой и читала. На «Старой Деревне» я вышел, а они поехали дальше, и я ещё долго стоял на платформе и думал об этой дрожащей руке, которую никто, кроме меня, не увидел.

Домой я добрался к семи. Поднялся к себе, не заходя к маме, — мне почему-то не хотелось сейчас ни с кем говорить, даже с ней, — снял мокрую куртку, поставил чайник и долго стоял у окна, не включая свет. За окном темнела Старая Деревня: мокрые крыши, жёлтые квадраты окон, голые тополя во дворе, а над всем этим — три Лахты, и на макушке второй мигали красные огоньки, как будто она подавала кому-то сигналы. Чайник закипел и выключился. Я его не заметил.

Потом я сделал то, чего не делал лет семь. Открыл нижний ящик стола, достал оттуда старую тетрадь в клетку — бумажную, настоящую, с загнутыми углами, — и ручку, которая, к моему удивлению, ещё писала. Когда-то я заполнял такие тетради каждую неделю. Стихи — если это можно было назвать стихами — про город, про туман, про высоту, про отца. Я никому их не показывал. Да и некому было показывать: в бригаде бы посмеялись, мама бы расплакалась, а остальные просто не поняли бы, зачем человек в наше время пишет что-то от

руки, на бумаге, когда в линзах есть приложение, которое сочинит тебе сонет на любую тему за четыре секунды. Потом я бросил. Не помню даже, почему. Просто однажды открыл тетрадь, посмотрел на пустую страницу и понял, что мне нечего сказать, кроме того, что я жду. А про ожидание я уже написал всё, что мог.

Я сел за кухонный стол, открыл тетрадь на чистой странице и написал первую строчку. Она пришла сама, и я даже не сразу понял, что это не мои слова, а её:

«Простых труднее всего понять —»

Я долго смотрел на эту строчку. Тире в конце повисло, как мост, который развели и забыли свести. Надо было что-то написать дальше, и я знал, что именно хочется написать, и написал:

«а я пятнадцать лет учился ждать».

Рифма была плохая, глагольная, за такие рифмы в школе Нина Аркадьевна снижала оценку. Но дело было не в рифме. Я перечитал эти две строчки и понял, что вторая — опять про меня. Про моё ожидание, про мои пятнадцать лет, про мою пустоту над головой. А первая была про неё — точнее, это была она, её голос, её неожиданная, точная, тихая фраза, — и я не хотел, чтобы она снова превращалась в разговор обо мне. Я зачеркнул вторую строчку. Одной чертой, ровно, так, чтобы её всё равно было видно. И оставил на странице только первую — с тире на конце, с разведённым мостом, — и закрыл тетрадь.

Чай я так и не налил. Было уже за полночь, когда я по привычке открыл прогноз погоды на неделю — я всегда смотрел погоду перед сном, работа такая. Ветер северо-западный, умеренный. Температура от плюс трёх до плюс семи. Дождь, дождь, облачно. И в пятницу ночью — маленький серый значок, которого я раньше никогда особенно не замечал, хотя видел его сотни раз: туман. Вероятность восемьдесят процентов. Видимость менее пятидесяти метров.

Я сидел на кухне, в темноте, и смотрел на этот значок.

Видимость менее пятидесяти метров. Я знал, что это значит. Знал, пожалуй, лучше всех в этом городе — после стольких лет на высоте, где из-за тумана нас снимали со стены, а дроны отправляли на базу, потому что они в тумане слепнут. Я сидел на кухне, рядом с папиной кружкой, держал в руке телефон с маленьким серым значком и чувствовал, как во мне впервые за пятнадцать лет просыпается что-то, о чём система не знала ничего. Что-то, чему она не подобрала бы ни процента, ни подсказки, ни правильных слов.

Надежда, наверное. Только на этот раз — моя собственная.

Глава 4
Следующий туман

Четыре дня я честно пытался о ней не думать. Получалось примерно так же успешно, как пытаться не думать о ветре, когда висишь на стропах на шестистах метрах. Я мыл стекло — и в стекле, вместо моего отражения, мне мерещился серый плащ и мокрая прядь на щеке. Я ел свою шаверму у «Старой Деревни» — и думал, ест ли она шаверму или считает её чем-то неприличным, как считают многие на Петроградке. Я ложился спать — и слышал её короткий, неожиданный смех, после которого женщина с папкой посмотрела на нас с таким осуждением, будто мы смеялись на похоронах. «Простых труднее всего понять». Я повторял это про себя, как когда-то в детстве повторял считалки, и каждый раз удивлялся заново.

Витёк, конечно, всё заметил. Витёк вообще замечал всё, что не касалось техники безопасности.

— Ты чего такой? — спросил он в четверг, когда я третий раз подряд прошёлся стягом по одному и тому же уже чистому участку стекла. — Влюбился, что ли?

— Отстань, — сказал я.

— Точно влюбился, — обрадовался Витёк. — Ну наконец-то! Тебе пришло, да? Сколько процентов? Слушай, ну скажи, сколько!

— Ничего мне не пришло, ты бы уже увидел в линзах, — сказал я. — Мой давай свою грань.

Витёк обиделся и минут двадцать мыл свою грань молча, что для него было подвигом. А я висел над заливом и думал о том, что он, в сущности, прав. Только он не мог себе представить, что можно влюбиться без процентов. В его мире так не бывало. В его мире любовь приходила уведомлением в два часа дня, с фотографией и цифрой, а всё остальное было — недоразумением, ошибкой, нарушением рекомендаций. Я и сам не был уверен, что это не недоразумение. Я видел её пятнадцать минут. Я не знал её имени. Я знал только, что у неё свадьба десятого января, что пятнышко на пальце называется жжёной сиеной и что она работает в Эрмитаже, в реставрационной мастерской. И что в пятницу ночью, если верить прогнозу, на город ляжет туман.

Тут надо объяснить про туман. Для любого петербуржца туман — это просто погода, одна из многих: неприятная, сырая, привычная, как насморк. Но для меня, после стольких лет на высоте, туман был чем-то вроде старого знакомого с очень особенным характером. Когда видимость падает ниже пятидесяти метров, на высоте работать нельзя — это написано во всех наших инструкциях, и бригаду снимают со стены. Но не только нас. Дроны в тумане слепнут: их камеры видят белую стену на расстоянии вытянутой руки, летать вслепую между домами и проводами они не умеют, и система отправляет их на базу, пока не прояснится. Уличные камеры тоже бесполезны: на записи — молочная муть, в которой не разобрать даже, человек там идёт или фонарный столб. Есть в служебном регламенте для таких случаев специальная формулировка — «временное отключение визуального контроля в связи с метеоусловиями». Я её знал наизусть, потому что каждый раз, когда нас снимали со стены, бригадир зачитывал её вслух, с особым удовольствием, как зачитывают приказ о внеочередном выходном. Кое-что система, конечно, знала и тогда: где лежит твой телефон, на какой станции ты спустился в метро и где вышел, что видят твои линзы, если ты их не снял. Но телефон можно оставить дома, линзы — убрать в футляр, и тогда для неё ты просто вышел из метро на какой-то станции — и растворился. А видеть — не видела. Не видела, с кем ты идёшь, как ты идёшь, держишь ли кого-нибудь за руку. На час, на два, иногда на целую ночь город, который смотрел на тебя тысячами глаз, становился слепым, — и слепота эта называлась туманом.

Вы спросите: почему город, который научился договариваться с погодой, — греет тротуары, разгоняет тучи по расписанию, — просто не отменит туман? Я тоже когда-то спрашивал. Нам объяснили на инструктаже: тучу разогнать легко, пока капли в ней переохлаждённые, — сыпнул реагента, и они сами осыпаются снегом где-нибудь над заливом, не долетев до города. А осенний туман тёплый, плюсовой, сыпать в него бесполезно. Вот в мороз — другое дело: холодный туман высыпают так же, как тучу, и он ложится на мостовые мелкой снежной пылью, и через полчаса город снова прозревает. Поэтому зимой туман у нас бывает только в оттепель, когда на улице снова плюс. И приходит он не облаком, а целым морем — с залива, на десятки километров вширь. Такое разгоняют только нагревом. Подогретый тротуар под туманом лишь парит, как чайник, и добавляет ему воды. В прошлом веке, чтобы расчистить в тумане одну-единственную посадочную полосу, вдоль неё жгли горючее цистернами; греть небо над целым городом не по карману даже «Гармонии». Так что туман она не отменяла. Она его пережидала.

Говорят, у полицейских дронов есть тепловизоры. Наверняка есть. Только в плотном тумане слепнет и тепловизор. У нас в бригаде есть свой — им ищут, где фасад теряет тепло, — и я не раз видел, что с ним делает туман: капли как раз такого размера, чтобы глотать тепловую волну почти так же, как обычный свет, и видно через них метров на сто, да и то мутно. А главное, тепловизор видит тепло, а не лицо. По Миллионной в тумане идёт не Агафонов Максим Андреевич, тридцати пяти лет, статус «Ожидание», а пятно температурой тридцать шесть и шесть. «Гармония» знает всех по имени, а с безымянным теплом работать не умеет — она его только пересчитывает, и пересчитанное пятно ни на что не влияет: ни на индекс, ни на рейтинг. Ставить на каждый угол дорогие камеры ради нескольких туманных ночей в месяц никто и не подумал. Зачем, если почти весь город сам носит линзы, а в туман нормальные люди сидят дома? Система жила средними числами, а в средних числах туманная ночь — погрешность. Как, впрочем, и я.

Старые петербуржцы, надо думать, туман ненавидели. В нём тонули лодки, в нём терялись прохожие, в нём, если верить старым книгам, по ночам бродили тени давно умерших людей. А я его полюбил. Ещё мальчишкой, когда впервые увидел из окна нашей кухни, как туман съедает город, я понял, что в нём есть что-то честное. Он не делит людей ни на кого. Он укрывает всех одинаково — и тех, у кого над головой горит золото, и тех, у кого пусто.

В пятницу к вечеру прогноз не изменился. Восемьдесят процентов, видимость менее пятидесяти метров, начало — около девяти вечера. Я ушёл с работы вовремя, приехал домой, принял душ, переоделся, положил телефон на кухонный стол, возле папиной кружки, а линзы убрал в футляр, — и только потом, уже стоя в прихожей в куртке, честно спросил себя, куда я собрался. Ответ был простой и идиотский. Я собирался поехать на Миллионную, к Эрмитажу, встать там в тумане и ждать — непонятно чего. Что она выйдет? Был поздний вечер пятницы. Реставраторы, насколько я понимал, работают днём, как все нормальные люди, и в десять вечера её там быть не могло. Я это понимал. Но всё равно поехал. Иногда, оказывается, ты едешь куда-то не потому, что рассчитал, а просто потому, что не можешь не ехать. Пятнадцать лет я делал только то, что можно рассчитать. А в тот вечер впервые сделал по-другому.

От «Старой Деревни» до «Адмиралтейской» — минут пятнадцать, без пересадок. Метро, как всегда, узнало меня в лицо и списало проезд. Пусть: в пятницу вечером в центр едет полгорода. «Адмиралтейская» — самая глубокая станция в городе, и эскалатор там такой длинный, что, пока едешь наверх, успеваешь прожить небольшую жизнь: передумать, решиться, снова передумать и снова решиться. Я стоял на ступеньке, смотрел, как мимо меня вниз уплывают лица, и думал, что веду себя как подросток. Тридцать пять лет, ноль целых три десятых процента старости, — и как подросток. На середине эскалатора я почти решил вернуться. На самом верху вышел на улицу — и забыл обо всём, потому что туман уже пришёл.

Он пришёл с залива, как приходит всегда, — сначала тонкими белыми языками по воде, потом всей массой, тяжёлой, мокрой, неторопливой, — и к десяти вечера накрыл центр полно-

стью. Невский исчез через тридцать метров в обе стороны. Фонари стояли в тумане, как одуванчики, каждый в своём собственном светящемся шаре, и между ними была мутная темнота, в которой глухо шуршали шины беспилотных такси и откуда-то, неизвестно откуда, доносились шаги и голоса. Адмиралтейская игла, которую в ясную погоду видно с половины города, пропала совсем — будто её и не было никогда. Город стал маленьким, тихим и тёплым, как комната, в которой выключили верхний свет и оставили только ночник. Я прошёл под аркой Главного штаба, через Дворцовую — огромную, пустую, белую, в центре которой Александровская колонна поднималась из тумана и исчезала в нём, не доставая до своего ангела, — вышел на Миллионную и остановился напротив атлантов.

Десять гранитных великанов стояли в тумане, по пояс в молоке, и казалось, что они держат на плечах не портик, а само небо, которое здесь, в тумане, опустилось совсем низко. Их отполированные пальцы на ногах тускло блестели в свете фонаря. Я прислонился к стене дома напротив, сунул руки в карманы и стал ждать. Я не знал, чего жду. Служебный вход — неприметная дверь с кодовым замком сбоку от портика — был закрыт, окна над ним темны. По Миллионной иногда кто-нибудь проходил, появляясь из тумана и через десять шагов исчезая в нём снова, как в театре, когда актёры уходят за кулисы. Полицейских дронов не было — их уже отозвали на базу. Камера на углу смотрела в белую стену. Город ослеп. И я стоял посреди этого слепого города, чувствуя себя одновременно очень глупо и очень свободно.

Я простоял час. Замёрз. Решил уйти. Простоял ещё полчаса.

В половине двенадцатого дверь служебного входа открылась, и из неё вышла она.

Тот же серый плащ, тот же тёмно-синий шарф. Без зонта. Она закрыла за собой дверь, постояла секунду, глядя в туман, как будто не очень хотела в него уходить, подняла воротник — и увидела меня. Я стоял шагах в десяти, у стены напротив, и в тумане, должно быть, выглядел как привидение: тёмная фигура без лица, неизвестно откуда взявшаяся. Она замерла. Я видел, как она испугалась — на долю секунды, по-настоящему, — и как испуг на её лице сменился недоумением, а недоумение — узнаванием.

— Вы? — сказала она.

— Я, — сказал я. И, поскольку надо было что-то добавить, добавил самое честное, что пришло мне в голову: — Простите. Я не знал, как вас найти. Вы мне сказали «спасибо», а я даже не спросил, как вас зовут. Четыре дня себя за это ругаю.

Она молчала. Потом подошла ближе, на несколько шагов, туда, где свет фонаря ложился на мокрую брусчатку, — и я увидел её лицо: усталое, бледное, с тенями под глазами, как у человека, который много часов подряд смотрел на что-то очень маленькое и очень важное.

— Алиса, — сказала она.

— Максим.

— Как вы меня нашли, Максим?

— У вас пропуск на плаще. Я увидел, когда вы выходили.

— Это нечестно, — сказала она, но не сердито, а скорее растерянно, будто сама не понимала, что чувствует.

— Я знаю, — сказал я. — Поэтому и пришёл в туман.

Она нахмурилась.

— При чём тут туман?

И я объяснил. Про пятьдесят метров видимости, про дроны, которые отправляют на базу, про камеры, которые смотрят в белую стену. Про «временное отключение визуального контроля в связи с метеоусловиями». Про телефон, который знает, где ты, но не знает, с кем, — и что свой я на всякий случай оставил дома. Я говорил и слышал, как это звучит, — так, будто я заманиваю её куда-то, где нас никто не увидит, — и замолчал на полуслове, почувствовав, что краснею, как школьник у доски.

— Зачем нам нужно, чтобы нас никто не видел? — тихо спросила Алиса.

— Не нам, — сказал я. — Вам. У вас свадьба десятого января. Я слышал. Я не хотел, чтобы у вас были неприятности из-за того, что какой-то тип без процентов над головой подошёл к вам на улице. Вот и всё. Если хотите, я сейчас уйду. Правда. Я просто… хотел узнать, как вас зовут.

Она смотрела на меня долго, — и я снова увидел, что её зрачки не бегут слева направо. Они просто смотрели. Ей нечего было читать.

— Я каждую пятницу сижу до ночи, — сказала она вдруг, совсем не о том. — Сегодня музей до девяти, потом все уходят, а я остаюсь. Говорю, что много работы. А на самом деле просто… не хочу идти домой. — Она помолчала и добавила, будто испугавшись собственной откровенности: — Не знаю, зачем я вам это говорю.

— Наверное, потому, что вам не подсказали, что говорить, — сказал я.

Она чуть заметно улыбнулась.

— Наверное. — И, подумав, сказала: — Проводите меня до моста. Мне на Петроградку, а Троицкий разводят в час двадцать.

Мы пошли.

Но сначала она остановилась у атлантов. Подошла к крайнему, тому, что ближе к Зимней канавке, и постояла перед ним, задрав голову, — как, видимо, стояла каждое утро, — а потом вдруг сняла перчатку и положила ладонь на его гранитную ступню. На отполированные до блеска пальцы, которые миллионы людей тёрли на удачу.

— Я никогда этого не делала, — сказала она, не оборачиваясь. — Полтора года хожу мимо каждый день. Мне всегда казалось, что им и так тяжело. А сейчас подумала… — Она замолчала и убрала руку. — Неважно.

Я не стал спрашивать, о чём она подумала. Я и так понял. Ей впервые за долгое время было что загадывать.

Мы прошли по Миллионной до Зимней канавки, через горбатый Эрмитажный мостик, под аркой, соединяющей два здания, — в тумане она висела над водой, как мост из сна, — и вышли на Дворцовую набережную. Здесь туман был гуще всего: Нева дышала им, выдыхала его на гранит, и он стелился над водой так плотно, что казалось, будто никакой реки нет, а есть только белая бездна, в которую уходят ступени спусков. Где-то внизу, невидимая, плескалась вода о камень. Где-то вдалеке протяжно, низко гудел буксир. А напротив, на том берегу, иногда, в минуты, когда ветер чуть раздвигал туман, проступала игла Петропавловки — тонкая, золотая, будто кто-то одним движением провёл по белому листу пером, — и тут же исчезала снова.

Мы говорили. Я даже не помню, кто начал, — разговор начался сам, как начинается дождь, с отдельных капель, а потом вдруг оказалось, что идёт уже вовсю. Она рассказала про свою работу — про голландскую картину, над которой сидела третью неделю, про женщину у окна и мужчину в дверях, про инфракрасный снимок и про то, что художник передумал. Что сначала мужчина смотрел в сторону, а потом художник повернул ему голову. «Пентименто, — сказала она. — По-итальянски — раскаяние. Когда под краской остаётся то, что было до того, как человек передумал». Я слушал её и думал, что никогда в жизни не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о чём-то с такой нежностью. Даже Витёк о своей Наташе.

Потом она попросила рассказать, как выглядит город с шестисот метров. «Я выше колоннады Исаакия никогда не поднималась, — призналась она. — А там, по-моему, двести с чем-то ступенек, и я на середине думала, что умру». Я стал рассказывать. Про то, что сверху город похож на чертёж, который кто-то начертил очень давно, очень твёрдой рукой, а потом всю жизнь пытался испортить, но так и не смог. Про то, как Нева сверху вовсе не прямая, а изогнутая, как рука, обнимающая острова. Про то, что в ясный день видно Кронштадт и маленькие форты в заливе, похожие на пуговицы, рассыпанные по серому сукну. Про то, что Васильевский сверху — действительно корабль, честное слово, со Стрелкой вместо носа. Она слушала,

не перебивая, и иногда смотрела вверх, в туман, будто пыталась разглядеть там то, о чём я говорил. «Возьмёте меня как-нибудь наверх?» — спросила она, и тут же, смутившись, сказала: «Простите, это я так». А я сказал: «Возьму». И мы оба сделали вид, что это была шутка.

— Значит, он сам решил, — сказал я, возвращаясь к её картине. — Мужчина. Повернуться.

— Это художник решил, — поправила она.

— Нет, — сказал я. — Художник просто заметил, что тот хочет повернуться. И не стал ему мешать.

Алиса остановилась и посмотрела на меня так, как будто я сказал что-то очень важное, — хотя я ничего такого не имел в виду, просто ляпнул первое, что пришло в голову. А потом пошла дальше, и долго молчала, а я не знал, обидел я её или наоборот.

Я рассказал ей про свою работу. Про беседку на стропах, про чаек, которые считают нас захватчиками, про то, что башня в сильный ветер качается, как корабль. Про сбои, когда линзы становятся серыми и можно залезть туда, куда нельзя, и смотреть на закат над Кронштадтом. Про папу, который разводил мосты. Про маму, которая так и не надела линзы. Она спросила, почему у меня пусто над головой, и я рассказал про шестнадцать одинаковых писем, про парк на берегу, про Таньку, которая сказала, что я сложный. Так я этого никому не рассказывал — ни Витьку, ни Серёге, ни маме, потому что маме и рассказывать не надо было, она всё знала сама. А ей рассказал. В тумане это почему-то оказалось легко. Как будто туман не только прятал нас от камер, но и прятал от нас самих то, что обычно мешает говорить.

— А что вы делаете, когда не моете окна? — спросила Алиса.

Я хотел сказать «ничего». И это было бы почти правдой: работаю, сплю, хожу к маме на пироги, смотрю с крыши на закаты. Но в тумане почему-то не получалось говорить почти правду.

— Раньше писал стихи, — сказал я. — Давно. Бросил.

Она остановилась.

— Стихи? Сами? Не через приложение?

— В тетрадке. Ручкой. — Я почувствовал, что краснею, и порадовался, что в тумане этого не видно. — Это глупо, я знаю.

— Это не глупо, — сказала она так серьёзно, что я даже растерялся. — Это… Я не знаю ни одного человека, который пишет сам. Ни одного. У нас в мастерской одна девочка сочиняет открытки на дни рождения, но это тоже через приложение, она только темы задаёт. А вы — сами. — Она подняла на меня глаза. — Почему бросили?

— Нечего было сказать, — ответил я честно. — Всё, что я мог написать, было про то, как я жду. А про это я уже всё написал.

Алиса посмотрела на меня долгим, странным взглядом, как будто хотела что-то сказать и не решалась. Потом всё-таки сказала — тихо, почти шёпотом, глядя в сторону, на туман над водой:

— На днях я нашла на картине слова. На письме, которое у женщины в руках. Под лаком. Два слова, по-голландски. «Я жду».

С минуту мы шли молча. Где-то внизу плескалась о гранит невидимая Нева.

— Покажете мне когда-нибудь? — спросила она. — Стихи.

— Там нечего показывать, — сказал я.

— Это не вам решать, — сказала Алиса. И улыбнулась так, что спорить мне сразу расхотелось.

— А ваши родители? — спросил я. — Тоже по… ну, без процентов?

— Мама выбирала сама, — сказала Алиса. — Папа ушёл, когда мне было пять. Мама до сих пор говорит, что ей просто не повезло родиться на десять лет раньше. Что, если бы тогда

была «Гармония», ничего бы этого не случилось. — Алиса натянула перчатку потуже. — Она очень за меня рада. Она говорит, что мне повезло, как никому.

— А вам? — спросил я.

— Что — мне?

— Вам повезло?

Она не ответила. Мы прошли мимо Троицкого моста — до развода было ещё далеко — и дошли до Летнего сада. Решётка проступала из тумана чугунными копьями с позолоченными остриями, а за ней, в глубине, белели странные силуэты, высокие и квадратные, как поставленные стоймя гробы. Алиса проследила за моим взглядом.

— Статуи, — сказала она. — На зиму их закрывают в деревянные ящики. Каждый год, сколько стоит сад. Чтобы мороз не испортил мрамор. — И, помолчав, добавила странным, чужим голосом: — Им хорошо. Им хотя бы разрешают полгода побыть невидимыми.

Я понял, что это и был ответ.

— Он хороший, — сказала она вдруг, будто спохватившись. — Дмитрий. Правда. Он очень хороший человек. Я не хочу, чтобы вы думали…

— Я ничего не думаю, — сказал я. — Я уверен, что он хороший.

— Девяносто шесть процентов, — сказала она. — Нам все завидуют.

— Я тоже завидую, — сказал я честно. — У меня никогда не было даже одного.

Она снова засмеялась — тихо, грустно, но засмеялась, — и я подумал, что, кажется, уже научился её смешить и что это, пожалуй, самое бесполезное умение в мире, потому что пользоваться им мне всё равно не придётся.

К Троицкому мосту мы вернулись без двадцати час. Мост уходил в туман и терялся в нём на середине. Фонари на нём — старинные, с тяжёлыми бронзовыми гирляндами — светились один за другим всё слабее, всё призрачнее, будто мост вёл не на Петроградку, а куда-то туда, откуда не возвращаются. По нему, шурша шинами, проехало последнее такси. Где-то на середине реки, в белой мгле, зазвенел сигнал: до развода оставалось сорок минут.

Мы остановились у начала моста. Ей нужно было идти. Мне нужно было остаться. Мы оба это знали.

— Мне никто ничего не подсказывает, — сказала она, глядя не на меня, а на туман над водой. — Когда я с вами. Совсем ничего. В линзах пусто. Пишет: «Недостаточно данных». Я девять месяцев не знала, что значит говорить самой. Я разучилась. Я не знаю, что вам говорить, Максим.

— Мне тоже никто ничего не подсказывает, — сказал я. — Пятнадцать лет. Привыкнете.

— Не уверена, что хочу привыкать, — тихо сказала Алиса.

Она повернулась ко мне. В тумане её лицо было бледным, как на старой фотографии, и глаза казались очень тёмными. Я ждал, что она скажет «прощайте». Или «спасибо» — как тогда, в МФЦ. Или ничего не скажет, просто уйдёт. Я был готов ко всему.

— Следующий туман, — сказала она.

И пошла по мосту, не оглядываясь, — сначала я видел её всю, потом только серый плащ, потом только смутную тень между фонарями, потом не видел ничего. Туман сомкнулся за ней, как вода.

Я стоял у моста ещё долго. Сигнал на середине реки зазвенел снова, громче, настойчивее, а потом, ровно в час двадцать, с глухим протяжным гулом, мост начал подниматься. Я не видел этого — туман скрывал всё, — но слышал и чувствовал: дрожь в граните под ногами, скрежет огромных механизмов, движение чего-то тяжёлого и медленного в белой темноте. Где-то там сидел в своей будке механик, пил чай из термоса и поднимал в небо стальные крылья, как когда-то мой отец. Город на ночь распадался на острова. Она была на одном. Я — на другом.

И только тогда до меня дошло, что я застрял. Метро уже закрылось, мосты развели, и до Старой Деревни, на другой берег, мне было не попасть до трёх часов ночи, пока Дворцовый

мост не сведут на короткие двадцать минут. Петербуржцы такое называют «остаться на том берегу». Со мной это случилось впервые лет за пятнадцать. Я рассмеялся вслух, один, в тумане, и пошёл обратно вдоль Невы — без всякой цели, просто чтобы не замёрзнуть, мимо Дворцового, мимо Адмиралтейства, которого не было видно, — и вышел на Сенатскую площадь.

Медный всадник стоял в тумане на своей скале, и туман был таким густым, что сначала я увидел только вздыбленного коня — тёмную, тяжёлую, мокрую массу, которая будто сама собой вырастала из белой мглы, — и только потом, подойдя ближе, всадника с протянутой рукой. Он указывал куда-то на Неву, на запад, на залив, туда, где за туманом лежали Лахты и где когда-то не было ничего, кроме болот. В школе мы учили про него стихи, и сейчас, стоя под ним, я почему-то вспомнил: «Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид». А ещё вспомнил, как учительница литературы, Нина Аркадьевна, говорила нам, что этот город построил один человек, который решил за всех. Решил, что город будет здесь, на болоте, на краю земли, где нормальные люди строить бы не стали. Решил за тысячи, которые этот город строили и которые остались лежать под ним. Никто их не спрашивал. И вот город стоит уже больше трёхсот лет, и его любят так, как не любят, кажется, никакой другой, и я его люблю — я уже говорил — сильнее, чем имею право. Я стоял под бронзовым царём, который однажды решил за всех, и думал, что, может быть, в этом и есть самое страшное: что из чужого решения иногда вырастает что-то прекрасное, и потом уже невозможно понять, ненавидеть его или благодарить. Конь над моей головой молчал. Царь указывал рукой в туман. Где-то за ним, невидимый, стоял, задрав в небо крылья, Дворцовый мост.

Я вернулся к Дворцовому, сел на гранитные ступени спуска к воде, поднял воротник и стал ждать. Мне было холодно, мокро и совершенно, необъяснимо хорошо. Нева плескалась внизу, у самых ботинок, еле видимая, и где-то за ней, за белой стеной, лежала Петроградка, а на Петроградке, в доме с эркером, наверное, уже засыпала девушка, у которой на пальце осталось пятнышко жжёной сиены.

Без десяти три Дворцовый свели. Я перешёл по нему на Васильевский, оттуда — на Петроградку, оттуда — к себе, в Приморский, и к пяти утра был дома. Мама, когда я проходил мимо её двери, спала. Папина кружка стояла на кухне, на своём месте. Я налил в неё воды из-под крана, выпил залпом и сел у окна.

Туман уходил. Медленно, нехотя, как уходят гости, которым было хорошо, он стекал обратно в залив, и из него одна за другой проступали крыши, деревья, фонари, а над ними, далеко, — три Лахты, мокрые, серые, огромные. Где-то над Приморским уже поднялся первый дрон и поплыл над дворами, поводя голубыми глазами. Город прозревал.

Я открыл прогноз погоды на неделю. Дождь. Облачно. Дождь. Ветер. И во вторник ночью — маленький серый значок. Туман, шестьдесят пять процентов.

С той ночи у меня появился новый календарь. Он назывался «прогноз погоды», и я заглядывал в него теперь чаще, чем во что-либо другое в своей жизни. Публиковала этот прогноз, между прочим, сама «Гармония». Но тогда я об этом не подумал.

Глава 5
Пустые линзы

Троицкий мост в тумане оказался длинным, как жизнь. Алиса шла по нему от фонаря к фонарю, и каждый фонарь появлялся из белой мглы внезапно, как чьё-то лицо в толпе, светил ей несколько шагов и снова исчезал за спиной, а впереди уже проступал следующий. Под мостом, невидимая, дышала Нева. Где-то на середине, в будке механика, горел жёлтый свет, и Алиса, проходя мимо, почему-то подумала о том, что рассказал ей Максим, — про отца, который двадцать лет поднимал в небо Дворцовый мост, а потом однажды сел на табуретку и не встал. Она представила себе его, этого незнакомого человека, в такой же будке, с таким же термосом, и ей стало так грустно, будто она знала его всю жизнь.

Она шла и пыталась понять, что сейчас было. Больше часа. Больше часа она проговорила с человеком, которого видела второй раз в жизни, — и за всё это время в её линзах не всплыло ни одной строчки. Ни одной. Только серая надпись в углу, неподвижная, как надгробная плита: «Недостаточно данных для рекомендации». Сначала это её пугало. Она открывала рот, не зная, что сказать, и говорила какие-то глупости, сбивалась, перескакивала с одного на другое, краснела и злилась на себя. А потом, где-то у Зимней канавки, перестала бояться. Слова начали приходить сами — неуклюжие, неточные, иногда совсем не те, — но свои. Она рассказала ему про пентименто и про мужчину в дверях. Про статуи в деревянных ящиках. Про маму и про папу, который ушёл. Она никому этого не рассказывала. Даже Вике. Даже себе, если честно, — вслух, словами, так, чтобы самой услышать. А ему рассказала. И теперь шла по мосту и чувствовала себя так, как чувствует себя человек, который долго болел, лежал в постели и вдруг впервые вышел на улицу и вдохнул полной грудью, — голова кружится, ноги дрожат, и страшно, и холодно, и хочется смеяться.

«Следующий туман». Неужели это сказала она? Неужели сама? Никто ей этого не подсказал. Никто не написал аккуратной строчкой: «Предлагаемая фраза: „Следующий туман“». Это пришло откуда-то изнутри, из какого-то места, о существовании которого она давно забыла, — и она произнесла это раньше, чем успела подумать, что так нельзя. Так нельзя. Она это знала. У неё был Дмитрий, девяносто шесть процентов, свадьба меньше чем через три месяца. А она стояла у Троицкого моста в тумане и назначала свидание другому мужчине. Слово «свидание» испугало её даже в мыслях, и она тут же поправилась: не свидание. Просто разговор. Просто туман. Просто человек, рядом с которым ей не подсказывают, что говорить.

Дома было тихо и тепло. Алиса тихонько открыла дверь, на цыпочках прошла по коридору — и увидела на кухне свет. Дмитрий сидел за столом, в домашней футболке, с чашкой в руках, и при виде её встал.

— Ты пришла, — сказал он, и его зрачки скользнули слева направо. — Я волновался. Ты, наверное, устала. Я согрел тебе чай.

Система, конечно, знала, где она была. Телефон, пропуск, турникеты — всё это продолжало работать и в тумане. Система знала, что она вышла из мастерской в половине двенадцатого, что шла по Дворцовой набережной, что перешла Троицкий мост. Знала и то, что больше часа её линзы смотрели на человека, о котором у самой системы было записано одно: «Недостаточно данных». С кем гуляла Алиса, система, выходит, не знала. Или делала вид, что не знает. И Дмитрий не знал. Он ждал её на кухне до половины второго и согрел ей чай. Алиса посмотрела на этот чай — в её любимой чашке, с ломтиком лимона, всё как надо, — и ей вдруг захотелось заплакать.

— Спасибо, — сказала она. — Работы было много.

Это была вторая неправда, которую она сказала ему своими словами.

* * *

На субботу у них по графику была совместная прогулка. «Елагин остров, 15:30–18:00. Рекомендуемый маршрут: Центральная аллея, Масляный луг, Стрелка. Закат в 17:31». Система всегда подбирала им прогулки с закатами. Видимо, где-то в её огромной памяти было записано, что закаты укрепляют гармонию пар, и она добросовестно отправляла их смотреть на закаты раз в неделю, как отправляют пить витамины.

Елагин в октябре был прекрасен той последней, отчаянной красотой, какой бывают прекрасны только северные парки перед самой зимой. Старые дубы и клёны стояли по колено в собственной листве — золотой, ржавой, бурой, — и аллеи были засыпаны так густо, что шаги тонули в шуршании. По стволам скакали белки — уже наполовину серые, в зимних шубках, из-под которых кое-где ещё проглядывала летняя рыжина, с отросшими кисточками на ушах, — наглые, избалованные, выпрашивающие у прохожих орехи. По прудам, аккуратно огибая уток, сами по себе скользили электрические лодочки без вёсел: садись и катайся, маршрут они знали лучше тебя. Утки в чёрной воде, кажется, ещё не решили, улетать им или нет. У дворца, белого, с колоннами, фотографировались молодожёны — свадьбы на Елагине играли круглый год, — и невеста в белом платье мёрзла в тонких туфлях на мокрой траве, а жених держал над ней зонт и улыбался в камеру правильной, хорошей улыбкой.

Они с Дмитрием шли по аллее, держась за руки. Держаться за руки было рекомендовано: «Тактильный контакт во время совместных прогулок способствует укреплению связи». Ладонь у Дмитрия была тёплая и сухая, и он держал её руку бережно, как держат что-то, что боятся уронить. Он рассказывал про новую модель дрона. Потом спросил, как продвигается её голландская картина. Потом сказал, что в этом году листья опали позже обычного, и это, должно быть, из-за тёплого сентября. Всё это было интересно и уместно. Алиса отвечала. В её линзах всплывали строчки, она их произносила, и Дмитрий кивал, и всё шло, как идёт заведённый механизм — плавно, ровно, без единого скрипа.

И тут она впервые заметила других.

Она и раньше их видела, конечно. Пары на аллеях, пары на скамейках, пары у пруда. Но раньше она смотрела на них, как смотрят на деревья или на уток, — как на часть пейзажа. А сейчас, после той ночи в тумане, после целого часа без единой подсказки, она вдруг увидела то, что было у всех у них на лицах. Вон пара на скамейке: он что-то говорит, а у неё перед ответом — короткий бег зрачков слева направо. Вон пара у пруда: она смеётся, а у него, прежде чем засмеяться в ответ, — то же самое. Вон пожилые, лет шестидесяти, идут медленно, под руку, и даже у них, даже у этих двоих, которые, скорее всего, познакомились ещё до всякой «Гармонии», в те времена, когда люди выбирали сами, — даже у них, у обоих, перед каждым словом бегут глаза. Весь Елагин остров, весь этот золотой октябрьский парк, полный людей, читал. Тысячи людей шли по аллеям, держались за руки, смеялись, говорили друг другу нежные слова — и все эти слова им кто-то написал.

Алиса остановилась.

— Что? — спросил Дмитрий. — Тебе холодно?

— Нет, — сказала она. — Нет. Просто… смотри, как красиво.

Это она сказала сама. Дмитрий посмотрел туда, куда смотрела она, — на пруд, на уток, на чёрную воду, в которой отражались золотые клёны, — и у него в линзах, видимо, что-то всплыло, потому что он сказал:

— Да. Осень — удивительное время года.

Он сказал это очень хорошо. С нужной интонацией, с лёгкой задумчивостью в голосе. Но это была не та фраза. Это была фраза вообще — о любой осени, о любом пруде, для любой пары на любой аллее любого парка. Система не знала, на что именно смотрит Алиса. Её реплики не

было в сценарии, и Дмитрию выдали что-то подходящее на все случаи жизни. А он прочитал. И не заметил разницы.

Они дошли до Стрелки к закату. Это было самое западное место острова — гранитный мыс, уходящий в залив, с двумя каменными львами, — и отсюда, говорят, ещё в девятнадцатом веке весь Петербург ездил смотреть, как садится солнце. Ездили и сейчас. На гранитных ступенях сидели пары, прижавшись друг к другу, и смотрели, как солнце, большое и красное, медленно опускается в залив. Правее, на фоне красного неба, чёрными силуэтами стояли три Лахты, и самая высокая из них, вторая, уходила вверх, как стрелка часов, которую кто-то забыл перевести. Алиса смотрела на эту башню и думала о том, что где-то там, на её стеклянной стене, может быть, прямо сейчас висит человек и смотрит на этот же закат, только с другой стороны. И что ему оттуда видно и эту Стрелку, и этих людей на ступенях, и её саму — маленькую точку в сером плаще, рядом с другой точкой, которая держит её за руку.

Солнце село в 17:31, минута в минуту. Пары начали подниматься со ступеней. Дмитрий тоже поднялся и подал ей руку.

— Хороший был день, — сказал он. — Спасибо тебе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.